



Мария Трилезжаева

**НЕВЫДУМАННЫЕ
РАССКАЗЫ**



Цена 29 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА

Невыдуманные рассказы

**Рисунки
И. Воробьевой**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
МОСКВА • 1969**

P 2
II 76

7-6-3



он милые читатели!

Истории, которые вы прочитаете в этой книге, не придуманы мною. События происходили действительно в наше время. Герои — живые, реальные люди. Я встречалась с ними и решила о них написать. Свою книгу я могла бы назвать: «Твоя мать. Твой отец». Вам понятно теперь, кто мои герои? Но не только они. Я расскажу вам три истории об отцах и детях нашего времени, о действительной жизни. Не думайте, что я собираюсь поучать вас наставлениями о том, что матерей и отцов надо уважать. Вы сами это знаете. Правда, иногда знать-то знаешь, а на деле... Жизнь полна: книги, товарищи, школа, туристские походы, театры, кино! Ни минуты свободной! Хорошо жить!

Но где твоя мать, мальчик или девочка, бегущие на первое несмелое свидание или уходящие в туристский поход, где тебя ждут трудные дороги, звездные ночи, искры костров, песни, смех и шутки товарищей? Где твоя мать, быстроногий мальчик или девочка? Не одинока ли она, когда тебе так хорошо?

— Чего вы хотите от нас? — слышу я почти обиженный вопрос. — Вы хотите, чтобы мы отказались от юности?

— Нет-нет! — тороплюсь я ответить. — Но, уходя в кино, к товарищам, вы не забыли сказать своей матери или отцу «до свидания», не забыли спросить, «как ты себя чувствуешь, мама»?

Или можно ведь без слов показать, что любишь, заботишься и помнишь о маме.

Но бывает и так.

— Маленький! Э, дошкольник, мамин сынок! — услышала я однажды, проходя по улице.

Оглядываюсь: мальчик лет десяти-одиннадцати целует мать. Она идет на работу, он — в школу. Они прощаются до вечера.

— Утри сопли, неженка! — встретил мальчика на школьном крыльце одноклассник.

Как часто грубость способна спугнуть хорошие порывы и чувства! И иногда сыновья не ласковы к матерям из боязни насмешек, из желания показать молодечество.

Но этот сын был не таков. Он был храбрым и верным сыном. Он взбежал на крыльцо и дал тумака глупому однокласснику.

Не подумайте, пожалуйста, что я советую вам защищать свою честь кулаками! Я просто описываю то, что увидела.

Сына дразнили неженкой за то, что он действительно проявил нежность к матери. Сын не застыдился, не изменил матери из-за предрассудков, диктующих ребятам «молодечество», во что бы то ни стало «молодечество»!

Странно, во у нас есть предрассудки. Нелегко воевать с предрассудками. Трудно не поддаваться насмешкам. Трудно, а ты не поддавайся. живи себе по-своему. Люби свою маму, заботься о ней, и пусть все видят и знают, как твоей маме хорошо, какой у нее добрый сын или заботливая дочка.

Много бессонных ночей она провела над твоей детской кроваткой, много тревог, слез, страхов перенесла за тебя и будет нести, пока жива! А ведь ты знаешь, люди не вечны, приходит срок... Береги своих мать и отца, торопись беречь...

Когда-то еще в детские годы я прочитала роман Достоевского «Под-росток». Один эпизод особенно произвел на меня впечатление. В пансионе, предназначенном для дворянских детей, воспитывался мальчик «низкого» происхождения. Ему плохо и сиротливо жилось. Он заразился предрассудками барской, заносчивой и чванливой среды, в какую случайно попал, и оттого ему еще хуже жилось, слишком остро чувствовал он разницу в положении своем и барских детей. И вот издалека приезжает его навестить мать.

«...Она сидела подле меня...— вспоминает подросток.— С ней был узелок, и она развязала его: в нем оказалось шесть апельсинов, несколько пряников и два обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы и с ущемленным видом ответил, что здесь у нас «пицца» очень хорошая...

— Все равно, голубчик, я ведь так по простоте подумала: «Может, их там, в школе-то, худо кормят», не взыщи, родной.

А к гостинцам я даже не притронулся; апельсины и пряники лежали передо мной на столике, а я сидел, потупив глаза...

Кто знает, может быть, мне очень хотелось тоже не скрыть от нее, что лизит ее меня даже перед товарищами стыдит; хоть капельку показать ей это, чтоб поняла: «Вот, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того»...

Представлял я тоже себе, сколько перенесу я от мальчишек насмешек, только что она уйдет...— и ни малейшего доброго чувства не было к ней в моем сердце. Искоса только я оглядывал ее темненькое, старень-

кое платье, довольно грубые, почти рабочие руки, совсем уже грубые ее башмаки и сильно похудевшее лицо...

Так мы сидели»...

Перед уходом мать подарила сыну синенький клетчатый платочек с крепко завязанным на конце узелком, в узелке — четыре двугривенных.

Прошло полгода, наступила ненастная осень. Мальчику все так же худо жилось, и он стал уже ненавидеть пансион, развращенное барство богатых воспитанников и лакейство или униженность других, бедных. И вот в эти дни, когда ему было очень уж плохо, в уголке своего ящика он нашел синенький мамин платочек. Удивился, вспомнил мамин приезд и спрятал платок под подушку.

«...В десять часов мы легли спать,— рассказывает мальчик,— я завернулся с головой в одеяло и из-под подушки вытянул синенький платочек... Я тотчас прижал его к моему лицу и вдруг стал его целовать. «Мама, мама»,— шептал я, вспоминая, и всю грудь мою сжимало, как в тисках. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами...

«Мамочка, где ты теперь, гостя ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила... Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись ты мне хоть во сне только, чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда»...

Помню, я читала эти страницы, и сердце у меня тоже ныло.

Запоздалые раскаяния, как вы горьки и печальны! Ничего нельзя изменить, нельзя исправить. Поздно.

Дорогие мои читатели! Среди вас почти нет таких, кто стеснялся бы рабочих рук своего отца или матери. Немногие из вас боятся прилечь к матери на виду у товарищей. Наверное, вы неплохие ребята, благодарные. И все же вдумайтесь, приглядитесь внимательнее, что для вас значат родители!..

Мне хочется рассказать вам об известных мне человеческих судьбах, нескольких жизнях... обыкновенных — хотела я написать, но нет! Разве бывает жизнь обыкновенной? Даже самая простая, самая скромная?





ЗВЕЗДОЧКА МОЯ

конца пятидесятих годов на московских афишах, объявляющих концерты молодых музыкантов, время от времени стало встречаться имя скрипачки Зори Шихмурзаевой. Фамилия редкая, но мне она знакома. «Она или нет?» — думаю я.

Осенью 1963 года снова вижу афишу: концерт лауреата международных конкурсов в Москве, Париже, Брюсселе. Теперь уже самостоятельный концерт.

Вот что! Она лауреат трех конкурсов! Я читаю, перечитываю афишу. Зоря Шихмурзаева... Что-то далекое, милое возникает в памяти. Далекое — тридцатые годы...

Я учительница. Помню трехэтажное здание Педагогического училища № 6. Широкие коридоры. На стенах портреты Ушинского, Крупской и других известных педагогов. В классах уроки.

Тихо. Но вот звонок к перемене. Двери классов распахиваются. С шумом выбегают девушки и юноши. Они — будущие педагоги, но сейчас еще ученики и ведут себя, особенно в перемены, подобно всем ученикам мира — болтливо и весело.

Выходят отдохнуть учителя. Из одного класса появляется темноволосая, смуглая учительница. Прямая, держится строго.

— Зариат Акавовна! — окликают ее ученики.

Да, теперь мне ясно вспоминается учительница Зариат Акавовна Шихмурзаева.

Хорошо, что я пришла на концерт! Давно надо бы мне послушать Зорю Шихмурзаеву! Вот она выходит на сцену. Как мила она, празднична и в то же время серьезна, когда, положив скрипку на плечо и опершись на нее подбородком, настраивает инструмент.

Сейчас ей примерно столько же лет, сколько ее матери было в ту пору... Так же темноволоса, длинные черные брови, смуглый румянец, и, когда начинает играть, плотно сомкнуты губы. От волнения? Да. Она играет, ни разу не обратив взгляда в зал. В первые мгновения кажется: смычок ее робок. Но только в самом начале, в первые мгновения. Она разыгрывается постепенно, с каждой новой пьесой зал внимает ей благодарнее. У нее яркая игра, героическая и сильная, очень искренняя...

Я слушаю, смотрю на просветленное лицо Зори, и мне кажется, она сама с замиранием сердца слушает и удивляется волшебству своей скрипки.

Однажды ученики спросили учительницу Зариат Акавовну Шихмурзаеву:

— У вас были несбывшиеся мечты?

— Была. Одна, — ответила учительница.

Она никогда не говорила им «нет», если думала — «да». Ученики уважали ее за это.

...Зариат, татарская девочка, с черными тугими косичками, какая твоя одна мечта не сбылась?..

Она родилась на Волге, в Саратове. По-татарски Сара-тау значит Желтая гора. Желтые горы окружили город. Иные бывают желтыми осенью, такими желтыми, будто леса и сады на их склонах позолотились от знойного солнца Саратова!

В праздники семья Зариат — отец, мать и сестричка — шла на Волгу гулять. Шла Зариат. У одного дома, ближе к Волге, Зариат дергала мать за рукав. И мать говорила:

— Пусть Зариат останется здесь.

— Ну что ж, — соглашался отец.

Они шли дальше неспешной походкой.

Зариат оставалась около дома. Здесь жил молодой музыкант, впоследствии прославленный виолончелист Семен Матвеевич Козолупов. Но и в то время, малознакомый, он был уже необыкновенным музыкантом!

Зариат это чувствовала. Зариат знала, когда он начнет играть.

Он играл в одно и то же время. Зариат ждала под окном. Она слушала его игру, пока он не кончит. Иногда на глазах ее выступали слезы, хотя музыка была не печальной, но у нее сжималось сердце от какой-то тревоги, и было так хорошо!

— Надо Зариат учить музыке, — говорили мать и отец.

Они собирались посоветоваться с виолончелистом Козолуповым.

Внезапно отец умер. И все изменилось. Куда уж там думать о музыке! Зариат еще школьница, а надо помогать матери, надо зарабатывать на жизнь. Как? Чем? Есть у Зариат одна способность: она умеет толково объяснить то, что знает, — вот такая важная у нее способность! Она отлично знает русский язык, а в классе некоторые ее подружки отстают, им нужен репетитор.

Кончились твои праздники, Зариат! Нет больше у Зариат каникул и праздников! Зариат стала репетитором. У нее несколько репетиторских групп, по три татарские девочки в каждой. Зариат учит их русскому. Когда в школе задали сочинение на тему «Кем я хочу быть», Зариат написала: «Хочу быть учительницей».

— Зариат разумная девочка,— говорили в школе.

Верно, она стала разумной, стала тише, степеннее, она знала: надо помогать семье, зарабатывать на кусок хлеба. А музыка отошла далеко. Не часто случалось теперь Зариат постоять под окном виолончелиста Козолупова...

Она кончила школу, педагогический институт и стала учительницей. Вышла замуж за инженера Еникеева Усмана Давыдовича. Родился сын Дамир.

— Скорее подрастай, маленький! Подростешь — будешь учиться музыке. Мне не удалось, а ты будешь непременно!

Мечта матери ожила с рождением сына. Дамира малюткой посадили за рояль. Дамиру шептали на ночь вместо сказки:

— Что всего лучше на свете, всего радостней? Музыка, маленький. Идет по лесу мальчик, а листья, цветы, птицы, рыжие белки звенят как колокольчики... Это можно сыграть... Хочешь?

— Хочу.

Родилась дочка.

— Назовем дочку, чтобы имя повторяло немного тебя и немного меня,— придумал отец Усман Давыдович.— Назовем Зариус. «Зари» — от матери, «Ус» — от отца. Зариус.

Впрочем, имя не прижилось.

«Зоря, Зоренька, Зорюшка, Зорька!» — звали девочку.

Так они жили — инженер Еникеев, его жена учительница Зариат Акавовна, сын Дамир, дочка Зоря, бабушка. Жили в Казани. Но... не удалось семейное счастье Зариат Акавовне. Разошлась с мужем. Дети остались у матери. Мама почти такая, как раньше. Только редко стала смеяться. Так редко, что уж если когда засмеется, Дамир и Зоря от радости скакали как бешеные, хохотали, веселились, пока соседи не застучат в стену.

Семья перебралась жить в Москву. Поселились на Красной Пресне, в маленькой комнатухе.

Зариат Акавовна нашла работу учительницы в педагогическом училище, а вторым ее делом было, как ни мала комнатуха, раздобыть на прокат пианино. Поставили пианино, и ком-

ната стала еще теснее. Но благородней, красивее. Мать каждый день вытирала пыль с пианино.

«Что-то будет?» — думала мать. Словно ждала чего-то, какого-то необыкновенного счастья! И долго, в задумчивости, слушала игру Дамира.

Дамир рос способным мальчишкой. Учился хорошо. И музыка учился прилежно. Раньше времени из-за пианино не вскакивал, хотя под окном свистали мальчишки, зазывая играть в футбол. Нет, Дамир не захлопнет ноты, пока не кончит урок. Но...

— Ты хочешь быть музыкантом?

— Не знаю.

Однажды пришел настройщик. Воспользовавшись случаем, Дамир улизнул к ребятам. А Зоря стояла возле пианино, заложив ручки за спину, и смотрела на работу настройщика. Молча, серьезно. Ей было пять лет.

— Спой! — сказал настройщик, тронув клавишу.

Клавиша издала звук. Зоря повторила.

— Э-э! — насторожился настройщик. — А ну-ка еще... Еще. Девочка немедля вторила звукам. Чисто, точно.

— Э-э!.. — протянул настройщик.

Вошла мать. Настройщик внимательно на нее поглядел, перевел взгляд на девочку, снова на мать и сказал:

— Вот кто у вас музыкантом-то будет.

Дамир беспечно гонял на дворе мяч. Маленькая девочка стояла возле пианино.

— Вот кто будет музыкантом, — повторил настройщик. Собрал инструменты и добавил внушительно: — Не упустите: труд музыканта начинается рано.

Мать молчала — она была поражена.

Она плохо спала эту ночь. Глядела в темноту бессонными глазами. «Не упустите!» Матери трудно жилось. Она работала с утра до ночи, одна кормила семью. Спасибо бабушке! Бабушка варила обед, вела хозяйство, смотрела за детьми. А деньги на жизнь, на еду, обувь, одежду зарабатывала мать. Мать — кормилец-поилец семьи.

«Неужели?» — думала она, проснувшись на другой день поутру рано. Дети и бабушка спали, а она тихонько собиралась в училище на работу и в смятении думала.

У нее был осторожный, несуетливый характер, она долго, трудно решала судьбу дочки.

— Я на скрипке играть хочу, — сказала дочка.

«Неужели?» — думала мать.

Прошло несколько дней. Зоря не забыла про скрипку.

— Мама, когда?

Она хотела играть именно на скрипке. Откуда она взяла скрипку? Наверное, запомнила из детских концертов в музыкальной школе Дамира.

И вдруг мать поняла: ведь дочка особенно слушает музыку! Вот жизнерадостный, озорной «Турецкий марш» Моцарта зазвучал в репродукторе. Зоря выпустила куклу из рук. На лице изумление. Впиалась глазами в черный круг репродуктора, забыла о кукле, слушает, покачивая руками в такт музыке...

Невольно мать унеслась мыслями в свое детство, в Саратов. Утро, солнечно. Цветет в садах лиловая сирень. Где-то на Волге гудок... Девочка с черными косичками бежит вдоль улицы. Куда ты бежишь, Зариат? Навстречу ей из раскрытого окна Козолуповых льется мелодия. Вот куда бежит она...

...Зариат Акавовна обдумала все. Решилась.

Вы спросите: о чем было думать? Ведь настройщик сказал: у дочки талант. А если настройщик ошибся? Все-таки мать не была совершенно твердо уверена, что у дочки такой большой, настоящий талант, которому следует посвятить целую жизнь! Каждый день музыканта — труд. Музыкант не может останавливаться. Музыкант должен играть непрерывно, чтобы рука стала безошибочной, точной, искусной и умела извлекать из скрипки те звуки, от которых на вас нахлынут счастье и слезы, и вам так дороги люди, и вам так хочется что-то сделать для них большое и доброе...

Волнуясь, шла Зариат Акавовна за советом в Консерваторию, на улицу Герцена. Там сказали:

— Надо проверить.

И вот учитель музыки. Он живет под Москвой, в дачной местности. Поглядел маленькие Зорины лапки: она растопырила пальцы.

— Пальцы для скрипки. Через четыре месяца убедимся, так ли,— сказал он и начал урок, пошевелив черными бровями.

Зоря не испугалась его черных нависших бровей. Ей было любопытно. А чего ей бояться, если мама рядом?

Мама сидела в соседней комнате. И вот до нее донесся первый звук скрипки. Такой слабенький, жалобный...

Была осень. В семь утра солнце еще не взошло. Еще темно. Будильник звенел ровно в семь. Мать живо прятала будильник под подушку: пусть Дамир поспит лишний час. А Зоре пора вставать.

— Зоренька, дочка, поднимайся!

Не хочется подниматься. Хочется спать.

— Вставай, дочка!

Зоря садится, молча трет кулаками глаза. Она еще не умеет сама застегнуть на спине лифчик. Мать застегивает. Надеты башмачки. Расчесаны волосы, завязан бант. По стакану молока с булкой, и они выходят на улицу. Они садятся в трамвай и едут на вокзал. Долго едут. Потом электричка мчит их мимо дач и садов. Мать рассказывает Зоре какую-нибудь забавную историю, чтобы разогнать сон. Уходи, уходи, сон!

А вот и солнце взошло. Гляди, Зоренька, а вот и дети в школу бегут, и день начался. А вот и приехали.

Мать сидит в соседней комнате. «До-ре-ми-фа-соль-ля...»

Так они ездили в Подмоскovie к учителю четыре месяца подряд.

В педагогическом училище пришлось составить особое расписание, чтобы уроки Зариат Акавовны начинались в 12 часов, чтобы она могла после Зориной скрипки поспевать на работу. Славный народ в педагогическом училище. Все знали: решается,

быть или не быть музыкантшей Зоре Шихмурзаевой,— все хотели помочь матери! Хотя бы дружбой...

В это беспокойное время Зариат Акавовна не раз обсуждала с учениками вопрос: «Можно ли добиться цели, если у тебя слабая воля?» Ученики не догадывались, отчего учительницу так занимает воспитание воли. С каких лет надо воспитывать волю?

Зариат Акавовна говорила:

— С пяти. Возможно, и раньше. А с пяти уж наверняка.

И она рассказывала ученикам о своей дочке Зоре.

Вы думаете, Зоре всегда хочется упражняться на скрипке по несколько часов ежедневно? Иной раз не хочется, хоть плачь, так не хочется! Матери жалко будить ее по утрам: у Зори бледные щечки, пусть поспала бы лишний часок. Но мать ни разу не уступила.

— Будь скрипачкой! Учись. Хочешь быть скрипачкой? Учись.

Иногда мать шла на хитрость:

— Выучишь хорошенько уроки — куплю шоколадку.

Зоря учила уроки и никогда не ела одна шоколадку — делила с Дамиром.

А Дамир все чаще старался улизнуть от пианино. У него другие цели и планы. Он мечтает быть летчиком. Или вдруг усядется за стол и часа два рисует. Домá рисует, рисует целые улицы многоэтажных домов. А что, может, будет строителем?

Наступила шестая весна в жизни Зори. Шестилетние девочки ходят в детский сад, лепят из песка куличики, а Зоря готовится к конкурсу для поступления в музыкальную школу при Московской консерватории. Надо пройти три тура. Первый одолела. Держись, как бы не сплеховать на втором. Второй одолела — и на третьем проваливаются. До последней минуты неизвестно, прошла ты или нет.

Мать нервничала, а дочке говорила спокойно:

— Не бойся, пройдешь.

Весь двор знал, что Зоре проходить три тура. Шутка сказать!

Во дворе никого не было, кроме Зори, кто бы участвовал в конкурсах. Ребята поглядывали на Зорю с уважением, когда она выбегала во двор погулять. А она знай себе прыгает через веревочку-скакалку:

— Пройду — не боюсь! Пройду — не боюсь!

Бабушка сшила Зоре новое платье. Купили новую ленту.

Накануне первого тура мать сказала дочке:

— Побеждают талантливые и упорные.

Может быть, она сказала это себе, а не Зоре.

— Я упорная? — спросила Зоря.

— Да.

— А талантливая?

— Говорят. Но главное — труд. Без труда ничего не добьешься.

— Знаю, знаю...

Что без труда ничего не добьешься, Зоря слыхивала от мамы не раз.

Утром, в день первого тура, она проснулась в жару. Болело горло. Смерили температуру. Мать ахнула. Сорок!

— Ничего, ничего, Зоря! Ничего...

Вышла из комнаты, прислонилась лбом к стене. Постояла без слез.

Приехал доктор.

— Да ты комик, оказывается, нашла время ангину схватить, ай-ай! — сказал доктор.

Начал лечить. Все со страхом ждали, что будет. Бабушка тихо плакала на кухне. Если бы Дамир был не мальчишкой, тоже заревел бы: так жаль маленькую, горячую от жара сестренку! Обидно! Выдержала бы конкурс, тогда и болей.

В эти дни, когда доктор изо всех сил старался скорее поднять Зорю с постели, Дамиру пришла мысль: «Не стать ли мне доктором?» Ему нравилось, как ждут и встречают доктора с надеждой и страхом, молча, почти не дыша, следят, как открыл чемоданчик, вынул стетоскоп... Доктор, доктор! Вылечите нашу Зорю.

А конкурс для Зори пропал. Первый тур в Консерватории кончился. Зорю все лечат. Шприц, укол, ингаляция. Бабушка поит Зорю горячим молоком с медом и содой. Дамир, сидя на стуле в другом конце комнаты, чтобы не заразиться ангиной, читает Зоре сказки Андерсена.

Второй тур окончился. Все. Прощай, музыкальная школа при Консерватории! На этот год прощай, музыкальная школа!

Оставалось несколько дней до третьего тура, когда доктор поставил Зорю на ноги. Шагнула шагоч — ухватилась за стену. Батюшки светы, глядите, она разучилась ходить!

Но только с постели — первое слово о скрипке:

— Мама, а я буду учиться играть?

Мать пошла в Консерваторию. Почти без надежды. И — чудо! — разрешили привести Зорю на третий тур.

Солидные, выдавшие виды профессора Консерватории, члены жюри, слушали скрипку крошечной, неизвестно откуда взявшейся девочки. Никто из музыкантов не знал девочку. У ее мамы не было влиятельных дядюшек, не было знакомых академиков. Мама ее была обыкновенной учительницей.

Представьте, члены жюри приняли Зорю Шихмурзаеву в музыкальную школу при Московской консерватории. Скоро у нее появился новый учитель. Надолго, до окончания школы. Имя учителя Каюм Абдуллович Байбуров. Он тщательно выбрит, аккуратно одет и носит большие очки в темной оправе. У него добрый вид. Глаза посмеиваются сквозь большие очки.

— Bravo! Первый рубеж взят! — весело сказал Каюм Абдуллович матери, имея в виду конкурс.

Мать подумала: «Вы не знаете, как поздней осенью мы поднимались до рассвета и ехали на электричке за город, как холодно было вставать. Неуютно выходить из дому под дождь! Вот когда был первый рубеж». Взять этот первый, самый важный и трудный рубеж, когда девочка еще так мала и беспомощна, зависело только от матери, от ее воли и выдержки!

«Не упустите: труд музыканта начинается рано», — сказал настройщик.

А через год грянула война.

Двадцать второго июня под утро Гитлер двинул на Советский Союз моторизованные, бронетанковые дивизии, эскадрильи самолетов, броненосцы, подводные лодки.

Жизнь страны перевернулась вся в один час. Гитлеровцы наступали. Падали наши города и населенные пункты... Из Москвы поспешно вывозили ценности, заводское оборудование и детей.

Зариат Акавовна готовила бабушку с детьми в эвакуацию, в город Казань. В Казани родные. Не дадут пропасть, приютят.

Прибежал перед отъездом на фронт отец Дамира и Зори.

— Прощайте! Простите!

— Прощай!

Через год он погиб.

Зариат Акавовна проводила семью до Казани. На вокзале и платформах Казани суета: беженцы, эвакуированные, узлы, чемоданы, плач детей... На путях — поезда, поезда, поезда с орудиями и солдатами. Направление — фронт. Радио объявляет: оставлены населенные пункты. Зариат Акавовна стояла у вагонов, крепко держа сына и дочь, растерянно озираясь вокруг. Ей было страшно, она ужаснулась предстоящей разлуке с детьми.

Мимо проходил человек, немолодой по походке. Оглянулся. Мать узнала очки в черной оправе.

— Каюм Абдуллович! — крикнула мать, будто увидела самого родного человека на свете.

Он подошел. Снял очки, вытер платком. Близоруко, печально сощурил глаза.

— Война, бомбежки... и девочка со скрипкой, — сказал он.

— Каюм Абдуллович, что делать? — спросила мать.

— Воевать! Работать... Правильно, скрипку захватили! Будем учиться.

И он пошел вдоль платформы, и девочка шла рядом с ним, неся маленькую скрипку в футляре.

Дети в Казани, с бабушкой, у родных. Каюм Абдуллович продолжает учить Зорю музыке. А мать вернулась в Москву.

Вы спросите: почему мать добровольно вернулась в Москву, когда сердце ее разрывалось от тоски по маленьким детям? Но ведь она учительница! Ведь педучилище оставалось в Москве. Москва в опасности, ученики в опасности...

Осень 1941 года. В блокаде Ленинград. Киев пал. Немцы под Москвой. Зариат Акавовна по-прежнему дает уроки в педучилище. По ночам дежурит со своими учениками, несет службу ПВО, охраняет дома от фашистских зажигалок. Враг угрожает Москве. Враг у ворот.

«Кто в силах держать лопату и лом — на рытье противотанковых рвов!» — призывали газеты.

Учительница Шихмурзаева собрала учеников!

— Идем копать рвы.

Они копают мерзлую землю. Кровавые мозоли у них на руках. Когда налетают фашистские самолеты, дежурный кричит: «Воздух!» Ребята падают на землю, стараются слиться с ней. Им страшно. Фашистские самолеты улетели, — снова роют противотанковые рвы...

— Мы победим, — говорит учительница. — Зачем бы Каюму Абдулловичу заниматься с Зорей музыкой в Казани, если бы мы не победили?

Довод кажется ученикам убедительным. Зачем, в самом деле, Каюму Абдулловичу учить Зорю игре на скрипке, если бы мы не победили? Они копают противотанковые рвы. Они верят — мы победим, и меньше ноют мозоли на руках, не так мучает голод.

...Врага отогнали от Москвы. Война идет долго. Но вот наконец прорвана блокада Ленинграда. На фронтах перелом. Наши войска перешли в наступление. Чаше гремят салюты в Москве в честь побед.

Радость — вернулись дети. В комнатке на Красной Пресне снова тесно и дружно! Вернулась жизнь, вернулась Зорина скрипка. Как вырос Дамир! Совсем стал самостоятельным пар-

нем! Много читает. Пирогова, Павлова, Мечникова, «Записки врача» Вересаева — вот что читает Дамир!

— Мама, — говорит Дамир, — я не буду больше играть на пианино. Я хочу быть врачом. И когда-нибудь уеду далеко-далеко! Уеду куда-нибудь... Чехов был доктором. И Вересаев. Филатов спасал людей от слепоты...

Но пока Дамир еще школьник, и живут они вместе, всей семьей, в тесной комнатке на Красной Пресне. Старое пианино стоит у стены, на крышке пианино — маленькая Зорина скрипка.

Теперь мама работает в школе. После уроков мама ведет ученический драмкружок. Это ее общественная нагрузка, ее увлечение. Она любит театр, все, что связано с театром. Шорох раздвигающегося занавеса, сумрак затихшего зала, свет рампы, расширенные от волнения глаза и измененные лица ребят перед выходом. Зоря со скрипкой приходит на мамин спектакль. Ставят «Бежин луг» Тургенева. Мальчики, притаившись, сидят у костра, ведут таинственные разговоры. Ночь. Туман ползет от реки. В небе слабо мигает звезда... Впрочем, все это только воображается актерам и зрителям, оттого что вдали поет иволга. Ребята забыли, что им надо «представлять», что они «актеры». Молчат. О чем они думают? О счастье? О славе? О подвигах?.. Это иволга поет. Это Зоря играет на скрипке за сценой.

— Бис! Bravo! Бис! — кричат Зоре ребята и учителя, которые в такие вечера становятся сами как дети.

— Мама, все хвалят мою музыку, одна ты молчишь. Почему?

— К этой музыке много еще надо сил и труда приложить, — отвечает мать.

— Трезвая, трезвая! — восклицает девушка, любя мать и в душе немножко сердясь. Приятно ведь, когда тобой восхищаются. Кому вред, если даже чуть перехвалят?

Дамир, который в это время был уже студентом медицинского института и с головой был погружен в свои медицинские книги, отрываясь от страницы, говорил ласково:

— Справедливая ты наша!

— Мать, ты наша опора! — произносила с шутливой торжественностью Зоря.

Мать махала рукой:

— Ладно уж, какая есть.

Мать делала все для детей, отдавала им все. А ласкала она детей редко. Она работала для них и втайне мечтала об их будущем творчестве. Вырастут — можно будет сказать: «Исполнен долг. Дети выведены на дорогу».

Скоро Дамир будет врачом.

— Дамир, ты не жалеешь, что не стал музыкантом?

— Нет. Если призвания нет... Ревновать, тянуться, отчаиваться и, может быть, никогда не добиться победы? Вот ты, мать, все твердишь: труд, труд. А призвание?

— Дамир, ты уверен, что нашел свое призвание?

— Да.

Он окончил институт и уехал в деревню. От райцентра пятьдесят километров. Кругом лес. Зимой навалит к избам сугробы, завоет вьюга, заметет дороги. Гудят, качаются ели в лесу. Старенькую больницу Дамира насквозь продувают зимние ветры.

Со всей округи приезжают лечиться к Дамиру Усмановичу. Возле больницы вбиты в землю колышки — привязывать лошадей. Притоптано сено, лошадиный навоз, пахнет вечным, крестьянским... Колхозники по старинке издали кланяются доктору, когда случается встретить на деревне. Правильного прислали им доктора. Сметливого, хозяйственного. Затеял ремонтировать больницу. Будто себе дом строил — с такой заботой! Светлая и теплая стоит больница в деревне Череево — Дамир Усманович, доктор, добился.

Скоро мать, Зарият Акавовна, скажет: «Выполнен долг перед детьми. Дети на дороге. Сын врач. Дочь в Консерватории».

Мать любит вечером возвращаться из школы домой. Правда, и дома тетради. До ночи хватит проверять диктанты или сочинения на тему «Кем я хочу быть», как когда-то ей самой задавали в саратовской школе.

Дома ли Зоря? Дома, со скрипкой.

Что нового, Зоря?

Все ново! Каждый день нов для Зори!

Знаешь ли ты, мой милый читатель, что от себя зависит, чувствует или нет человек новизну и удивительность жизни? Бывают скучные характеры, вечно чем-то недовольны, вечно обижены: одиноко живет таким людям на свете.

А вот Зоре никогда не бывает одиноко и скучно. Музыка ее жизнь. Берет смычок и играет, стараясь музыкой рассказать, что у нее на душе. «Я счастлива! Я люблю свою скрипку, свой труд! Сегодня я играла десять часов подряд. И завтра. И каждый день. Больно руку, ноет плечо. Пусть больно, пусть ноет. Мне хорошо! Я просыпаюсь утром и думаю: так интересно жить, такие удивительные люди вокруг, такие замечательные у меня учителя! Мне повезло!»

Верно, Зоре повезло. Замечательные у нее учителя! Каюм Абдуллович учил Зорю игре на скрипке все десять школьных лет. Растил Зорин дар любовно и бережно, как растят редкий цветок. Он любил в Зориной игре искренность и ясность.

Когда после школы Зоря перешла в Консерваторию, он сам выбрал для своей ученицы профессора.

— Вручаю Вашему мастерству и таланту мою любимую ученицу! — сказал Каюм Абдуллович, приведя Зорю к профессору.

Представьте человека небольшого роста, с изрезанным морщинами добрым лицом, крупным носом, высоким умным лбом, — перед вами профессор Абрам Ильич Ямпольский. У Ямпольского огромная слава, у него множество учеников, лауреатов, известных музыкантов. Может, он еще и не возьмет Зорю в ученицы?

От смущения и беспокойства она не могла выговорить слова, когда в первый раз пришла к Ямпольскому вместе с Каюмом Абдулловичем. Молча, во все глаза глядела на него.

— Сыграйте! — велел Ямпольский и встал у окна, спиной к ней.

Обмирая от волнения, она начала играть. Она не знала, хорошо или плохо играет, ей хотелось, чтобы он понял, как дорога ей музыка: она жить не может без нее, жизнь — это музыка, музыка — жизнь! Сыграла и опустила смычок. Он обернулся:

— Вон вы какая!

Теперь он пристально и пытливо глядел на нее.

— Яркость, прямота, поэтичность!

«Что он сказал? Неужели это о ней, Зоре, ее игре?»

— Берете? — обрадованно спросил Каюм Абдуллович.

— Конечно, беру!

На уроки к Абраму Ильичу Ямпольскому, в его квартиру на улице Горького, Зоря шла как на праздник! Его уроки открывали всегда что-то новое. Он понимал и умел объяснить ей самой в ее игре каждый звук: что есть у нее, чего не хватает. Он ей внушал, чтобы она оставалась собой. Задача: не подражать никому, даже самому высокому мастерству. Не повторять других. Быть собой. Растить в себе свое лучшее.

— Тебе много дано, развивай то, что тебе дано от природы, — говорил Зоре профессор Ямпольский и радовался, когда ей удавалось сыграть по-своему Бизе или Паганини.

Иногда, в хорошем настроении, Абрам Ильич Ямпольский брал скрипку и играл сам. Он играл только близким людям, в кругу друзей или особенно дорогих ему учеников. Можете представить, он, превосходный скрипач, не выступал на сцене, боялся сцены, перед публикой он тушевался, чудесный дар его наполовину тускнел. Зато все, что он знал и умел, он отдавал ученикам. Короче говоря, Абрам Ильич Ямпольский был выдающийся педагог!

А Зоря была ученицей. Со всеми учениками случается, и с Зорей случалось, что не всегда одинаково хорошо приготовит урок.

Конечно, он мигом замечал неверную ноту, нетщательно приготовленную пьесу. Но Зоре не попадало. Он молча отводил

глаза и глядел в сторону так огорченно и грустно, что уж лучше бы попало! Она готова была провалиться сквозь землю! Готова была работать круглые сутки, работать, работать, только бы добиться улыбки Абрама Ильича, чтобы он сказал: «Вот теперь — то!»

Мать все это знала. Мать переживала это все вместе с Зорей и даже больше ее. Она любила Зорину музыкальную жизнь. Она любила вернуться из школы с кипой тетрадок и под Зорину скрипку подчеркивать толстым красным карандашом в школьных диктантах опшибки. Вот карандаш сам выпадает из рук, тетради оставлены, мать слушает... Как легко на душе!

Но что это?

— Что с тобой, Зоря? — однажды в беспокойстве заметила мать.

Зоря опустила на стул, рука со смычком бессильно повисла.

— Ничего, мама, немного устала.

— Зоря, у тебя белые губы!

— Пустяки, мама. Немного устала.

Завтра снова не доиграла урок. И послезавтра...

Мать притронулась ко лбу Зори, в ужасе отдернула руку:

— Да ты горячая, Зоря!

Пришла беда. Беда! В разгаре туберкулез острейшей формы.

— Опасно? — спросила мать докторов.

— Очень.

— Вылечить можно?

— Будем... лечить.

«Дочь! Неужели ты погибаешь?!»

Зоря лежит в постели, у нее влажный лоб, глаза закрыты от слабости. Неужели она погибает? Мать прикусила платок, чтобы не закричать. Зоря открыла глаза:

— Мама, ты когда-нибудь плачешь?

— Редко.

— Ты сильная. Мама, когда я умру...

— Ты не умрешь, Зоря!

— Мама, положи скрипку ближе, чтобы я видела...

Она тихо поглаживает скрипку коричневого цвета, с прозрачным лаком, прохладным и гладким. Мать выходит из комнаты. Мать сильная, почти никогда не плачет, но сейчас выходит из комнаты. В кухне соседи смолкают при ее появлении.

Матери надо побыть одной, справиться с горем. Она идет из дому, бродит по улицам. Долго, тоскливо. Воспоминания теснятся у нее в голове...

Знаете ли вы, как Зоре досталась эта скрипка, которую сейчас она гладит, беспомощно лежа в постели?

Однажды профессор Ямпольский сказал:

— Есть один очень старый скрипач, он уже не играет и решил продать свою заслуженную скрипку кому-нибудь молодому. Но только в талантливые, надежные руки!

У Зори была скрипка, она играла на ней все школьные годы. Давно уже Зоря переросла свою скромную школьную скрипочку. Ей нужен другой инструмент, звучнее, звонче, сильнее, богаче оттенками.

— Ты можешь получить от государства в пользование на время консерваторскую скрипку,— сказал профессор Ямпольский.— Но... волшебный Паганини с семнадцати лет играл на одной скрипке. Скрипка у музыканта должна быть одна на всю жизнь. Чем раньше ты сживешься со своим инструментом, тем лучше.

Зоря молчала.

— Понимаю,— сказал профессор Ямпольский.— Возьми у меня деньги в долг. Когда-нибудь отдашь.

Зоря молчала.

— Ты моя ученица, я в тебя верю, ты не имеешь права не взять,— мягко и настойчиво уговаривал профессор Ямпольский.

И Зоря, почти плача, взяла.

Но профессор Ямпольский не знал, что деньги, которые он

дал Зоре, составляли едва половину стоимости скрипки. А если бы и знал, у него не было больше.

— Мама, можно попросить, чтобы дали консерваторскую скрипку, и все! — сказала Зоря.

— У волшебного Паганини была скрипка-друг на всю жизнь, — ответила мать.

— Да, да, да! — решительно подхватила подруга матери Любовь Павловна Рабинович. Она была директором школы.

Они с молодых лет работали вместе. Муж Любови Павловны тоже убит на войне. Она тоже вдова. Но у нее нет детей. Она любит своих учеников, любит Зорю.

— Товарищи! Надо помочь нашей маленькой Зоре!

Зоря давно уже была не маленькой, но учителя, товарищи матери, считали ее по-прежнему девочкой. Они помнили, как пела ее детская скрипочка на школьных концертах.

— Конечно, поможем! — согласились учителя.

— Конечно, поможем! — сказал Каюм Абдуллович.

И мать идет к старому музыканту покупать для Зори его превосходную скрипку.

Она волнуется, робеет, словно девчонка. У нее сохнет от волнения горло.

— Для кого вам нужна скрипка? — спросил музыкант.

— Для дочери, — робко ответила мать. — Моя дочь — Зоря Шихмурзаева.

— Зоря Шихмурзаева... — повторил музыкант.

Наступила пауза. Мать не могла разгадать, что означает эта долгая пауза. «Все пропало, — подумала мать. — Он не хочет расставаться со своей скрипкой».

Вдруг она услышала:

— Зоря Шихмурзаева — ваша дочь? Я знаю ее игру! Она звездочка, ваша дочь!

Он оставил мать и через минуту вернулся со скрипкой коричневатого цвета, с золотистым оттенком. Он торжественно нес ее на вытянутых руках.

— Берите для Зори эту скрипку знаменитого итальянского

мастера Жана-Батиста Руджери, эту певучую скрипку. Ее родина — Италия. Ее делал славный мастер Руджери из города Брешиа северных провинций Италии. Глядите, как благороден ее цвет! Слушайте, как она звучит...

Он тронул струну, его серое худое лицо старика осветилось улыбкой.

— Вы — мать Зори Шихмурзаевой, так знайте, как часто необыденное связано с музыкой, — продолжал странный скрипач. — Когда-то в прошлом веке в Милане жил Луиджи Таризио. Он был одинок, мечтателен и непонятен людям. Всю жизнь Луиджи Таризио собирал скрипки. Он тратил на скрипки сумасшедшие деньги и жил бедно, как какой-нибудь мелкий ремесленник. Иногда он продавал одну скрипку, но только настоящему музыканту и не упускал свою скрипку из виду, следил за ее судьбой. Когда Луиджи Таризио умер, люди пришли в его жилище и что же увидели? Почти пустая комната — стол, стул и кровать составляли скудную ее обстановку, а на стенах и вдоль стен стояли и висели благородные инструменты: скрипки, альты, контрабасы. Это было прекрасное зрелище! — сказал старый музыкант и покачал головой. — Может быть, — продолжал он, — и эта скрипка Руджери оттуда. Я хочу, чтобы она была у музыканта с ясным талантом и чистой душой. Передайте Зоре. На счастье. — И он протянул матери драгоценную скрипку Руджери.

Она взяла и ничего не могла сказать. Она шла от музыканта пешком через всю Москву, прижимая скрипку к груди.

...И сейчас она шла, бесцельно, не видя дороги.

«Старый скрипач пожелал тебе счастья, Зоря, Зоря!..» — думала мать.

На дворе зима. Холодно. Мать не чувствовала холода. Жесткая жизнь! Но всякий раз, когда было очень уж плохо, люди являлись на помощь. Никогда ее не бросали одну, без участия. Спасибо вам, люди!..

Люди, у меня снова беда!

Вдруг, будто вспомнив о чем-то, она почти бегом побежала к профессору Ямпольскому на улицу Горького. Зоря о нем говорила: «Он не стоит на земле. Непрактичный, неловкий в устройстве житейских дел, неумелый...»

Все-таки мать шла к нему.

Непрактичный, неловкий в устройстве житейских дел, профессор Ямпольский на этот раз звонил в разные нужные места, хлопотал и добился, что Зорю положили в загородную лечебницу, превосходную, с превосходными специалистами, новейшими способами лечения.

— Она талантлива! — говорил Ямпольский врачам, сестрам, няням этой загородной лечебницы, где были белые стены, кровати, белые палатные столики; белый снег лежал в саду, белые березы стояли под окнами. И тишина.

Матери сказали:

— Ее нужно очень хорошо кормить. Приносите ей все самое лучшее, самое вкусное — фрукты, черную икру, дылят, даже для аппетита дорогое вино. Нужно, чтобы ей захотелось есть.

Доктора стали делать все для спасения Зори. Мать продала, что у нее было, что можно было продать, — все, кроме скрипки Руджери. Мать работала до темной ночи, валилась с ног от усталости.

Надо много денег. Надо, чтобы ей захотелось есть. Мы спасем тебя, Зоря! Ты не умрешь...

...Я слушаю концерт лауреата трех международных конкурсов. В программе сонаты Моцарта, Брамса, десять прелюдий Шостаковича, переложенные на скрипку Цыгановым. Дмитрий Дмитриевич Цыганов — новый Зорин учитель. Ямпольский умер. «Красивый человек, вечная тебе память!» Ученики играли траурный марш на скрипках. Вечная память, учитель!

«Зоря, к кому ты теперь?» — думала мать.

Впереди решающие годы. Выпуск из Консерватории. Начало пути. Кто будет рядом? Кто направит в путь на целую жизнь?

К Ямпольскому Зорю привел Каюм Абдуллович. К Цыганову она пришла сама.

— Наверное, тоже «не стоит на земле»? — спросила мать.

— Да. И тоже настоящий человек и скрипач.

Сорок лет назад в молодой Советской республике четыре талантливых молодых скрипача создали квартет имени Бетховена. Теперь его знает весь мир. Единственный случай в мировой музыкальной культуре — сорок лет квартет дружит все вернее и крепче, все виртуознее и вдохновеннее его мастерство! Один из четырех создателей квартета Бетховена — Дмитрий Дмитриевич Цыганов.

Каюм Абдуллович Байбуров, первый Зорин учитель, учил ее серьезному отношению к музыке, ясности и глубине исполнения. Абрам Ильич Ямпольский, второй Зорин учитель, угадал в Зоре лирический романтизм, поэтичность. И помогал расти и развиваться угаданному. Героическое, бетховенское внушает Зоре Дмитрий Дмитриевич Цыганов. Она схватывает на лету. Ее тянет к высокому в музыке. И в жизни. Ведь это она рассказала мне о своих учителях с такой благодарностью и восхищением!

— Жизнь свела меня с людьми необыкновенными, от общения с ними я чувствовала себя счастливее, лучше, добрее, смелей! — говорит Зоря о своих учителях.

Мне вспомнился Пушкин. «Ты создал нас, ты воспитал наш пламень!» — так Пушкин возблагодарил наставника юности.

Благодарность — черта характера некорыстного и верного. Потому, может быть, скрипке Зори Шихмурзаевой близки героический романтизм и мечтательность.

Между тем концерт окончился. Так быстро! Хотелось слушать еще.

— Бис! — нетерпеливо и молодо кричали из зала. — Еще! Пасторали Бизе! Пасторали Бизе — Цыганова!

Зоря подняла скрипку к плечу. Зал умолк. Зоря играла пасторали Бизе в переложении своего учителя Дмитрия Дмитрие-

вича Цыганова. С каким очарованием, певучестью, прелестью! Я видела задумчивое лицо Цыганова, слушавшего свое сочинение. Пасторали Бизе — Цыганова игрались публично впервые. Зоря Шихмурзаева была первой их исполнительницей. Некому подражать. Надо играть по-своему, как ты чувствуешь сама, как ты понимаешь! А ведь этому и учили Зорю учителя: чувствуй, думай, понимай, отзывайся, и тогда твоя музыка будет твоей, будет особенно дорога и ценна людям!

Однажды здорово пригодились Зоре наука понимать музыку самостоятельно, не страшась новизны! Это было на Международном конкурсе молодых скрипачей в Брюсселе. По условиям конкурса в заключение его полагается сыграть сочиненную бельгийским композитором специально для конкурса пьесу. Что за пьеса? Никто не имел представления. В десятидневный срок ее нужно разучить и исполнить перед жюри и публикой.

Вот как это происходило осенью 1963 года, когда Зоря участвовала в конкурсе. В Брюсселе, на окраине города, построена Королевская капелла — изящный, не очень большой дом, в стиле модерн, окруженный парком, где тенистые аллеи, клумбы, цветы, бассейн для купания. В доме несколько маленьких уютных квартирок, в них никто не живет. Во всем доме в ожидании конкурса только директор.

Скрипачей для работы в капелле привозят по очереди. Подошел Зорин срок. Директор встретил советскую скрипачку в вестибюле. С любезным поклоном передал запечатанный королевской печатью конверт.

Внутренне вся дрожа от волнения, Зоря взяла. Вбежала в отведенную ей квартирку. Она будет жить здесь десять дней. Она не разглядела, что за квартирка! Обстановка, занавесы, цвет стен — она ничего не видела, кроме конверта из плотной глянцевитой бумаги, с печатью. Вскрыла конверт, не отрывая взгляда от нот, на ощупь вынула из футляра скрипку...

А в дверь постучали. Она не откликнулась. Еще постучали. «Наверное, опять журналисты! — с досадой, почти отчаянием, подумала Зоря. — Опять интервью! «Вы из Советского Сою-

за? Вы татарка? Действительно татарка? И вы окончили Московскую консерваторию? Вы — исключение? Или татары в Советском Союзе действительно имеют одинаковые с другими права?»

Да, ей задавали и такие вопросы.

Но сейчас вошли не журналисты, а фоторепортеры. Тихо, на цыпочках.

— Радон, мы не будем мешать. Позвольте, очень недолго...

Несколько минут они молча щелкали аппаратами. Справа, слева, в профиль, анфас. Зоря даже не поглядела на них. Перед ней на пюпитре ноты. Она вся поглощена новой пьесой. Через десять дней последний тур конкурса. Решающий.

«В игре Зори Шихмурзаевой,— судили и писали некоторые бельгийские критики,— слышится голос татарской крови, зов ее предков, с их неистовыми страстями и правом...»

«Полноте! — отвечала Зорина скрипка.— В моей игре не зов предков. Знаете, о чем я играю? О том, как я люблю свою страну, свою Москву. Мне хорошо и приветливо в вашем нарядном Брюсселе, но как я лечу всем сердцем домой! Домой, домой! Я люблю мои московские улицы, мой дом, мою скрипку! Помнишь, мама, ты принесла мне скрипку, ты несла ее через весь город, у тебя озябли руки, ты пришла молодая, радостная. Как прекрасна ты, жизнь! Слушайте, я играю об этом».

Она играла об этом. И тогда. И сейчас...

Я оглядываюсь, вижу в зале сияющие или задумчивые глаза, умные и добрые лица. Зоря! Это твоя скрипка поднимает и будит в людях лучшие чувства.

Я думала об этом, спускаясь после концерта по лестнице, растроганная и растревоженная Зориной скрипкой и видом воодушевленного, праздничного, как всегда на талантливой музыке, концертного зала.

У стены, на лестничной площадке, стояла мать. Высокая и прямая, она внимательно всматривалась в проходящих людей,

как бы стараясь прочесть по лицам: что испытали люди, что в них разбужено?

Никто не знал, что это мать.

А ведь это она не упустила дар Зори, как подсказал ей когда-то настройщик. Она много отдала, чтобы помочь Зоре овладеть ее чудесной профессией музыканта. Пожалуй, всю жизнь.





И СКАЗКА И БЫЛЬ



Очью свистела вьюга за окном, мороз наморозил на стеклах ледяные разводы, долго не рассветало. А может, на воле уже утро, но в избушке с маленькими оконцами еще полумрак. Тихо, сонно. Трое ребятишек спят под одним одеялом на печке. Младший, Вовка, четырех лет, посередке, сестренки по бокам. Ходики на стене меряют время: так-тук, так-тук — медленно качается маятник.

Кто-то пошевелился под лоскутным одеялом, над подушкой поднялась одна головенка с тоненькой косичкой крючком; круглые глаза глядят, а еще не проснулись, ничего не понимают со сна.

«Му-у», — протяжно донеслось со двора.

Головенка упала на подушку, глаза закрылись. Так-тук — мерно постукивает маятник.

«Му-у»,— снова протянулось со двора. Жалобно, длинно. И еще, и без остановки: «Му-у-у-у».

Голова рывком оторвалась от подушки. Девочка вскочила на коленки, в холщовой рубашке, с растрепанной косичкой крючком.

— Люда, Люда, вставай! Тамара зовет. Да вставай же! — будила девочка сестру.

Люда проснулась. Вовка всхрапнул напоследок и тоже проснулся. Послушали мычание и все трое деловито принялись одеваться. Изба выстыла за ночь. Вовка дохнул — изо рта вылетел пар.

— Холодьюга,— сказала Валя и первой полезла с печки на деревянную лежанку, спрыгнула на пол.

На шестке, прислонившись к заслонке, сушились три пары стареньких валенок. А вернее, холодились — тепла печки хватало едва на полсуток.

Валя всунула босые ноги в валенки, повязалась платком, повязала Вовку. Все оделись и втроем пошли в хлев. Люда с поддойником. Валя с бадьей — в ней подмутненное оплесками из молочных кринок пойло. У Вовки на ладошке чуть посоленная корочка. Вовка и сам бы ее съел, да нельзя. Надо полакомить Тамару, чтобы не хлесталась хвостом, когда Люда станет доить. Сядет под корову на скамеечку и доит. Валя и Вовка стоят рядом, смотрят.

— Доись, доись, Тамарушка! — приговаривает Валя и гладит коровий твердый, в белых кучерявинках лбище или держит за рог.

Молоко короткими струйками скупое даинькает о стенку ведра. Ребята с тревогой следят, скоро ли покроется дно. Покрылось.

— Доись, доись, Тамарушка!

С утра надаивали кринки полторы. На завтрак. К обеду кринку. Да в ужин.

Утро у ребятешек начиналось с забот и работы. Накормить корову Тамару, выдоить дочиста, чтобы ни капельки зря молока

не пропало. Люда после дойки трясла и махала руками: «Ой, ой, пальцы ноют, пальчики мои бедненькие!»

Валя с Вовкой участливо дожидались, пока Люда отохает. Потом шли из хлева в избу. Надо затапливать печку, варить на завтрак картошку да кислые щи на обед.

Завтракали то с хлебом, то без хлеба. Трудно распределить хлеб на весь день. Не удержишься — дневную норму сразу съешь.

— Что мы наделали, ой, дураки мы! — подперев щеку ладонью, расстраивалась и корила себя Люда.

Она была старшей в доме, ей сравнялось десять лет. Вале — семь, Володе — четыре.

Люда была хозяйкой, за мать. Люда требовала, чтобы младшие ее уважали. А они и уважали. А как же? Кто корову доит, кто корм задает, кто печку топит? Все Люда. Над младшими командует: дай, подай, принеси!

Валя с Вовкой только успевай поворачиваться!

Они сидели за столом, ели рассыпчатую горячую картошку, обжигаясь и запивая парным молоком, когда вошел председатель, весь занесенный снегом: лез, видно, в избу через сугроб. Февральская выюга не утихает, подваливает снега к крыльцу.

— Здорово, орлы! Как житье?

— Хорошо! — согласно пропели ребята.

— Людьми не забытые?

— Не-е-т.

— Людьми не забыты, не кинуты, тогда и беда — полбеда! Хлеба вам принес, получайте. Сахару пайкового. Сразу-то сахар не ешьте, на месяц паек. Эх вы, сиротинки, немало вас таких нонче мается... Ладно, не киснуть! — самому себе бодро приказывал председатель колхоза. И продолжал: — Газеты пишут, войне скоро конец. Из города вроде повеселее о матери вести. Вон сколько новостей хороших. До свиданья, орлы!

— До свиданья!

Люда раздает каждому по ломтику хлеба, по кусочку сахару. Остальное прячет в стенной шкафчик.

Потом забежит та или другая соседка. Наведается бабушка:

— Девчонки, топите печку?

— Топим.

— Сварить-то есть чего?

— Есть.

— Тогда не скушайте. Кликните в случае...

Они оставались одни, тройка ребятшек — Люда, Валя, Володя. В окна и из-под дверей дуло. Вдруг в трубе загудит. Они залезали на печку и вели разговоры.

— Валя, а Валь, а что это мы — сиротинки? — спрашивал Вовка.

С хозяйственными вопросами, он знал, надо обращаться к Люде, а о жизни любил слушать Валь. Валя отвечала определенно и ясно:

— Папу нашего убили на войне, то и сиротинки.

— А папа наш был какой?

— Умный-преумный, храбрый-прехрабрый, вот какой.

— И откуда ты знаешь! — всплеснет руками Люда. — Ты сама тогда была маленькой, поменьше Вовки, откуда ты знаешь?

— Вот и знаю.

Валя знала. Она помнила мамины рассказы об отце. Валя видела его по рассказам, будто живого. Отец молодой, сильный, первый на селе тракторист! Как выйдет в колхозное поле на тракторе, как примется отваливать борозду за бороздой, глядите, люди добрые, вспахано поле, сейте, люди добрые, рожь!

— Валь, он был у нас богатырь?

— Богатырь.

— Валя, а вдруг мама у нас умрет?

— Что ты, что ты, Вовка! Что председатель сказал? Из города веселые вести.

— А я забыл, какая мама... — грустно говорил Володя.

— Уж и забыл! Ничего и не забыл! Мама красивая, хорошая, добрая.

И Валя целовала, целовала маленького Вовку, жалела, ласкала, утирала его чумазую мордочку. И не плакала. Держалась, чтобы не заплакать.

Мой милый читатель! Если ты даже вдвое старше семилетней Вали Терешковой, какой она была в тяжелую военную зиму 1944 года, если тебе четырнадцать, пятнадцать или больше, может быть, лет, разве твое сердце не сожмется от боли при мысли: вдруг моей мамы не станет? Ты стремглав бежишь проведать маму, взглянуть, что она? Ты ничего не умеешь ей объяснить и, может быть, не найдешь того слова, которое передало бы ей твою ласку, напротив, ты хочешь скрыть от мамы твой внезапный, необъяснимый, ничем не вызванный страх. Но в эту минуту ты понял, как дорога тебе мама, как ты любишь ее голос, ее добрые руки, и даже когда она сердится и бранит тебя, все равно ты ее любишь сильнее, чем всех других людей на свете!

Помнишь, ты заболел? Тебе было плохо, в груди хрипела простуда, все тело в огне. Ты с трудом открывал слипавшиеся от жара глаза: мама тут, всегда тут, помнишь? Ты затем и открывал глаза, чтобы убедиться, что она не ушла. Нет, никогда мать не уйдет, если тебе плохо, сын или дочь. Был ли в твоей жизни случай, чтобы мать отвернулась, когда ты прибежал к ней за помощью? Если тебя несправедливо обидели, она разделит твою обиду, всеми силами станет защищать тебя от обидчиков. Неудача у тебя — кто прежде всех с тобой рядом: подержит, ободрит, не даст упасть духом?

Ты сделал ошибку, ты сам виноват в своей беде — с каким гневом и горем мать осудит тебя, и она же первая кинется тебе на помощь, будет тебя заставлять исправить ошибку, будет тянуть тебя на верную дорогу, не успокоится, пока не узнает, что ты прочно стоишь на ногах, ты надежный человек, больше не собьешься с пути.

Но все это, всю великую самоотверженность матери мы начинаем понимать и ценить гораздо позднее. А пока нам семь, десять, четырнадцать лет, мы, не задумываясь, счастливы материнской любовью, нам кажется, так и должно быть, мама с нами, так будет всегда...

Маленькая Валя Терешкова утешала братишку, совала в рот ему огрызок сахара, сбереженный от завтрака, говорила на печ-

ке долгие сказки о Лутонюшке, Деде-Морозе, об Иванушке и Коньке-горбунке, а на душе у нее тяжело. Плохо без мамы. Скучно без мамы.

Куда же девалась мать ребятишек Терешковых из села Масленниково, чуть не до крыш заваленного в эту студеную зиму снегами, заметенного вьюгами? Отчего дети одни? Где Елена Федоровна Терешкова? Ведь она еще молодая, веселая, быстрая! Да, была веселой и быстрой.

— Счастливым уродился Владимир Терешков,— говорили люди, когда вся деревня гуляла на свадьбе тракториста Владимира Аксеновича Терешкова,— красивую жену в дом привел. Певунья, плясунья, и ловка, и работница!

Работать Елена Терешкова вправду любила. Всякое дело так и горит в ее проворных руках. Тихо не умела ходить, все бегом и все с песней. И все-то радостно ей, и в колхозе и дома. А что же и не радоваться? Муж заботливый, дочки милые, Люда и Валя.

Вдруг война.

Мужа призвали в первые дни. За околицей простились и больше не виделись.

Сын Володя родился уже без отца, сиротой. Трое детишек у солдатской вдовы. Как прежде, ловка и быстра, не согнулась от горя, только песни стали печальные:

Спишь ты под землею,
Спишь ты за меня...

В последний военный год свалила солдатскую вдову с ног болезнь. Видно, тяжело заболела, если пришлось ехать в город, лечиться в больницу на целую зиму. «Деточки мои, детки, как вы без меня одни?»

А вот так. Втроем и живут. Бабушка придет. Соседки навещают. Прожили, не пропали...

Настала весна. Фашистов разбили.

В эту первую после войны весну Елену Федоровну на колхозной подводе привезли из больницы. У конторы слезла.

Дальше своими ногами пошла. Шла по деревне, пошатываясь от усталости, весеннего ветра, тревоги на сердце. «Деточки мои...»

А они уже навстречу бегут! Впереди Валентина, крепконогая, светлоглазая, русые волосы гривкой летят за плечами.

Бабы вышли на крыльцо. Глядят, как солдатская вдова Елена Терешкова после долгой разлуки с детьми встречается: сразу всех троих обнимает, прижимает к себе. Плачут бабы. У каждой свое горе и переживание. Нет в деревне неосиротевшей избы. Там отца, там мужа, там сыновей не дождались с войны...

Дети привели маму в дом. Посадили маму на лавку за стол. Стол накрыт. Краюшка хлеба, корчажка с молоком. Цветики луговые в кринке.

— Мамочка, ешь, поправляйся. Мамочка, пей молоко!

Она пьет, а слезы в чашку: кап-кап.

«Надо мне поправляться, надо детей воспитывать, на ноги ставить. Нужна я им».

Сознание нужности детям придавало ей силы. Некогда раздумывать над своими болезнями и несчастьями.

— А ну-ка, давайте печку затапливать, да воды согреть, да в корыто вас посажу, да хорошенько отмою мочалкой, чтобы кожа от чистоты скрипом скрипела!

И пошла работка!

В деревне Масленниково, расположенной на высоком живописном холме, далеко за водой ходить, под гору. До болезни, бывало, Терешкова поднимется, едва рассветает,— по лугу стелется белый туман, еще и петухи по дворам не проснулись, еще и жаворонок не подал в небе первый голосок после ночи, а она уже бежит с коромыслом. И в гору с полными ведрами почти что бегом. Всюду первая, везде раньше всех, всегда живая, с улыбкой.

Бывают люди, которых невозможно представить вялыми и скучными. Такая невялая и нескучная Терешкова Елена Федоровна. Сроду не знала скуки! Случались беды, слезы, потери, а скуки нет, не знавала. Скуку испытывают пассивные и нелюбопытные люди, с ленивой душой. А она не ленива, она любо-

пытна, ей хочется все узнать, испытать, все дела переделать своими руками.

Но после болезни тяжело стало таскать воду из-под горы. Тяжело одной работать в колхозе, кормить троих ребятишек. И колхозу, с расстроенным за военные годы хозяйством, слабая солдатская вдова с кучей ребят больше в обузу, чем в помощь.

Решили полюбовно: расстаться. Елена Федоровна простилась с колхозом. Избу заколотили. Погрузили на колхозный грузовик нехитрое домашнее добро Терешковых, старшенькую Люду и младшего Вовку посадили в кабину, Елена Федоровна повела па веревке корову. Валя с мамой. Валя крепкая. Валя маме помощница. Пошагали в город Ярославль на новую жизнь.

Там Валина бабушка, Елены Федоровны мать. В материнский дом, под материнскую крышу шла Елена Федоровна, вдова, с тремя ребятишками. Не думайте, что с легким сердцем шла. Старухе матери хватало забот. С матерью жила семья сына и младшая дочка Вера жила.

— Принимай, матушка, новых жильцов, тройку внуков тебе привела.

Самолюбивая, самостоятельная Елена Федоровна не хотела садиться на шею старой матери и семейного брата. Приняли в дом — спасибо, а с жизнью сами будем справляться.

Ветхий домишко матери стоял посреди огорода, в ряду таких же огородов и то плохоньких, то ладных и крепких домов на окраине Ярославля. Здесь улица 8 Марта, пожалуй, больше похожа на деревню, чем на город. За улицей протянулись луга. Волги здесь не видать, Волга далеко, до Волги долго надо ехать на трамвае, через весь большой Краснопереконский район, через реку Которосль; там, за Которослью, начнется древний город Ярославль на волжском высоком, крутом берегу.

В материнском доме Елене Федоровне с детьми отделили дощатой перегородкой комнатку в полтора окна — одно окно досталось целое, а второго пришлась половина. Эта половина оконца особенно понравилась детям! Все им здесь ново и весело:

электрический свет, гудки, долетающие с фабрики «Красный Перекоп», гром поездов на недалекой железнодорожной насыпи, видное с крылечка просторное небо. В небе след самолета.

Едва ли не все мужчины и женщины с улицы 8 Марта работали на текстильной фабрике «Красный Перекоп». Кирпичные корпуса «Красного Перекопа» почти на квартал протянулись вдоль реки Которосли. Ярославскую «Большую Мануфактуру» называли «Красным Перекопом» в первые годы революции, когда шла гражданская война. Текстильщики ушли воевать, остались на фабрике жены. «День и ночь будем работать, только бы наши с победой вернулись!»

И верно, качались от голоду, а станков не бросали.

И вот пришла весть: наши на Перекопе бьют беляков! Еще весть: разбили беляков. Победа наша! Тогда в честь этого события и стала фабрика зваться «Красным Перекопом».

Не думала Елена Федоровна, что станет «Красный Перекоп» ее родным. Что про «Красный Перекоп» из-за дочки Вали узнает весь мир! Но до этого пока далеко...

А сейчас, начисто вымыв стены и полы своей комнатухи на улице 8 Марта, повесив на полтора окна занавески, прибав на видном месте фотографию покойного мужа, Елена Федоровна оделась во все лучшее, одела ребятишек и повела смотреть фабрику.

Ух, какими большими показались им говорящие тысячами станочных голосов корпуса!

Высоко поднялась над корпусами кирпичная башня, на башне большие часы, над часами огромное, издалека заметное изображение ордена Ленина. Награждена фабрика за доблестный труд!

Загудел гудок, и сотни людей потянулись с улицы на фабрику и обратно, с фабричного двора на улицу. Была смена.

Мама и дети стояли. Что там, за фабричными стенами? Сюда мама поступила работать в мотально-снотальный цех. В колхозе была передовой, а здесь что будет? Сумею ли? Справлюсь ли?

— Девчонки, боязно мне!

— Не бойся, справишься, мама!

Вовка был еще мал, с ним мать не советовалась, но, когда в первый день возвращалась домой со смены, у калитки стояла вся троица, во все глаза глядела на мать, читала на лице матери: «Что? Как? Благополучно ли?»

Потом сидели за столом, ели сваренные девчонками щи, и мать рассказывала свой первый день в мотально-снвальном цехе, с самого начала, с гудка. Понравилось ей, что вроде дружные люди в цеху. Все молодые.

У матери смеялись глаза. Она сама стала совсем молодой. К ней вернулось веселье.

— Девчонки, поехали Волгу глядеть!

Сели в трамвай и поехали на Волгу.

Вот она, голубая, серебристая, блестит под солнцем, вот плывет белый пароход, с красным флагом, будто на праздник. Дети и мать смотрят, и им кажется, верно, праздник!

— Мама,— говорит Валя, не отрывая от парохода завороненного взгляда,— вот бы мне матросом стать.

— Чего — матросом, давай уж в капитаны метить, коли так!

Маленькой Валентине часто являются самые необычные мысли, желания самые несбыточные. У нее и игры не очень девчоночьи. Кукла, правда, есть, но, когда после летнего ливня вдоль улицы шумно несется поток, кто во главе ребячьей команды лепит плотину, строит море, пускает в плавание парусники? Валя Терешкова! Кто там залез на высоченную березу, как белка, качается в ветвях на макушке? Кто рыбка ныряет в реке?

— Мальчишкой бы тебе родиться! — говорит мать.

Но нет, она ласковая, чистенькая и прехорошенькая девочка Валя! Мать вплетает Вале в волосы ленту и ведет в школу, в первый класс.

Наверное, все вы помните этот день. Почему-то почти всегда 1 сентября бывает солнечно, утренний воздух свеж, небо ясно, и девочки в белых передниках, с лентами в косах торжественно несут учителям букеты. Иногда попадетсЯ и мальчик с цветами.

И первоклашки, держа в одной руке новенький, жесткий портфельчик, в другой — руку мамы, замирая от ожиданий, топают в школу. Вы думаете, только вы волнуетесь, входя впервые в школьный двор, где в это утро красно и парадно от пионерских галстуков? А ваши мамы? Думаете, у них не замирает от волнения сердце?

Елена Федоровна Терешкова чуть не всплакнула, отведя Валю в школу. Вспомнила, как училась сама. Шла гражданская война. Школы в деревне не было. Букварей не было. Учил ребятишек отставной солдат по газете.

«То-ва-ри-щи!» — читают по газетному листу ученики.

«Ле-нин!» — читают.

Вышли из положения, и букваря не понадобилось. С письмом тяжелее. Тетрадей нет, карандашей нет, чернил нет, мела нет. Учитель развел сажу — вот вам чернила. Настрогал палочек. Ребята окунают палочки в разведенную сажу, пишут на обрывках газет: «Мы не рабы. Рабы не мы».

— Погодите, побьет наша Красная Армия беляков, тогда будем жить, — обещает солдат.

Так она училась. А для дочек вон какая построена школа! Выучитесь — определю на «Красный Перекоп», все трое станем текстильщицами, вместе будем на фабрику бегать. Пока мать в семье текстильщица одна. Нелегко ей живется, каждая копейка на счету, куски хлеба на столе не заваливаются.

Но дети никогда не видят маму унылой. Все на свете ей любопытно. И ново. Вот девчонки выучились грамоте, а ей любопытно, ей ново, что в доме теперь все чтецы, один Вовка пока по малолетству неграмотный. Девочки вернутся из школы, выучат уроки, и если на дворе зима, вечер ранний, скупо вдоль улицы зажжены фонари, тогда, как бывало в деревне, заберутся на печку, Вовку посерединке посадят и ждут.

Заскрипели в сенях озябшие половицы, дохнуло в дверь морозным паром — кто там? Мама, мамочка, из фабричной библиотеки, с книгами!

Сначала на печке под тонкий посвист метели читались дет-

ские книги, занимательные, веселые стихи и рассказы! Любили у Терешковых читать! Особенно Валя.

Сначала детские с волшебными картинками книги, потом стали появляться в доме Некрасов и Пушкин, Тургенев и Лермонтов. Мама прибежит со смены, и обед надо приготовить, и прибраться — где девочки помогут, где сама, — а нахлопотавшись, набегавшись, сядет вместо отдыха со штопкой или заплатами и Валентине:

— Читай!

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли вль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...

Мать вслушивалась в музыку слов, она была песенницей, ее волновал ритм стиха, и все больше захватывали, брали за живое мятежность, тоска по воле, сила души одинокого, гордого юноши Мцыри! Валя знала «Мцыри» наизусть, читала вслух без конца. Мать видела ее напряженное от волнения лицо и сама волновалась, и эти испытанные вместе с дочерью чувства над книгой сближали их, как подруг.

Дети росли. Детское отодвигалось, уходило. Шла юность на смену. В семье уже две текстильщицы: мать и Люда ходят на «Красный Перекоп». Володя учится, Валя кончает школу.

Сейчас на фасаде этой школы № 32 мемориальная доска говорит:

«Здесь с 1949 по 1953 год училась Терешкова Валентина Владимировна».

Валя училась здесь с пятого класса.

Трехэтажная школа стоит на горе над прудами. В XVIII веке крепостные рабочие отмачивали в прудах фабричные холсты. За прудами, сквозь липовый парк, виднеется желтый дом с белыми колоннами, когда-то там жил управляющий фабрикой. Невдалеке зеленая неуклюжая церковь немецкой архитектуры, странной и чуждой в древнем русском Ярославле. Церковь построена фабрикантом по своему вкусу. Теперь в ней кино. В желтом доме с колоннами после революции открыли туберкулезный санаторий. Позади санатория тонкоствольная березовая роща. Березовая аллея приводит к Полянкам — поселку в курчавых садах на краю приветливой, круглой поляны. Утром и вечером толпы текстильщиков движутся под тенью березовой аллеи к «Красному Перекопу».

Валя Терешкова впитывала живую историю, видя из окна своей школы бывшие уголья фабрикантов. Раньше они были отделены от простого народа оградами. Лучшие дома и сады Ярославля принадлежали богачам. Рабочие люди вроде вторым сортом были.

— Рада я, что живу сейчас, а не в старое время! — скажет Валя матери.

Мать понимала с полуслова и, кивнув на сумку с книгами:

— Этого бы не знать в старое-то время.

— Мама! Не могу я без книг, без музыки не могу, без нашего «Красного Перекопа» не могу!

Что касается «Красного Перекопа», бабушке, маминой маме, маминому брату, маминой сестре Вере Федоровне, и самой маме, и Люде — всем он родной. И Вале. После окончания школы пришлось поработать недолго на шинном заводе, а потом и младшая дочка поступила на «Красный Перекоп» — три текстильщицы в доме!

Младшей дочке восемнадцать лет. Она крепкая, стройная, взгляд у дочки и серьезный и добрый, брови тонкие, улыбка приветливая, волосы не сказать что кудрявые, а волнистые, легкие. В один прекрасный день вот что две сестрицы отчудили, не спросив у матери совета. Сговорились, прямо со смены — в парикмахерскую: обе в один час обрезали косы. Явились домой, мать так и ахнула:

— Что вы понаделали? Красоты себя сами лишили!

— Красота! Нас школьницами за косы в цехе зовут.

Сбылось мамино желание: три в доме текстильщицы. Мать похлопотала, чтобы троем ходить в одну смену. Володя в школу, мать с дочками на фабрику. С улицы 8 Марта дорога ведет на фабрику в обход парка. В парке построена сцена, в летние вечера показывают аттракционы, играет музыка, приезжает театр, потому парк огорожен забором.

Мать и дочки идут утром мимо забора на фабрику. Валя впереди.

— Мама, гляди-ка!

Мать глядит: лаз в заборе. У Вали смешинка в глазах.

— Ладно, давайте! — заражаясь смехом, соглашается мать.

Отодвинули доску, пролезли в дыру и втроем через парк, напрямик. Баловство? Конечно, баловство. А весело! И времени минут двадцать до гудка сэкономлено. Еще не рассветало. Еще сумраком ночи окутано небо. Фабрика сверкает огнями.

— Мама, хочешь в красный уголок заглянуть?

Там газеты и книги, там портрет Ленина, фото, таблицы, выцветшие от времени газетные вырезки рассказывают о прошлом нашего «Красного Перекопа».

— Гляди, мама, в прошлом веке, в девяносто пятом году, когда купец Карзинкин был хозяином фабрики, случилась забастовка. Плохо платили рабочим, забастовали прядильщики и ткачихи: требуют, чтобы зарплаты хоть немного прибавили. А губернатор вместо ответа приказал солдатам в рабочих стрелять. Ленин тогда, в Петербурге, узнал...

— И что же он, Ленин-то?

— Написал листовку. Всем, всем, всем рабочим! Товарищи, боритесь с капиталистами и царским правительством.

...Гудок. Ночная смена кончилась. Начинается новый день. Наш «Красный Перекоп» зовет на работу. Три текстильщицы Терешковы идут в цеха, к станкам.

Сестры, Люда и Валя, работали и учились в заочном техникуме легкой промышленности. В пору экзаменационной сессии туго приходилось девочкам.

— Девчонки, изведетесь вы с науками вашими! — пожалеет мать, но только так, для виду пожалеет, а на самом деле гордится, что дети вперед идут. Хоть и туго приходится.

Валя после смены усядется возле дома на бревнах, в коленях качает младенца, тети Веры сынишку, глазами в учебник уткнулась. Не поднимая глаз:

— Мамочка, погоди часок!

Майский вечер светел, из фабричного парка доносится музыка. Вспоминается матери молодость.

— Все-то, Елена, ты с песнями, пропоешь свое счастье, — говорили бабы.

А она и сейчас любит песни. И сейчас со старухами не водит компании. Даже и сверстницы ей вроде стары. В цехе девочки молодые, мать с ними дружит. И дома не переводится молодость.

Валя кончила читать учебник. Вскочила с бревен. Отнесла тете Вере сынишку. Потянулась.

— Мама!

— Ау! — откликнулась мать. — Отучились, девчонки? В кино, что ли, сходим?

Они вместе ходят в кино и на обратном пути обсуждают героев фильма, актерскую игру, восхищаются или спорят, у них есть любимые и нелюбимые актеры и картины, и мать нисколько не уступает в спорах «девчонкам». Иная остуженная годами соседка с улицы 8 Марта скажет брюзгливо:

— У Терешковых всё дискуссии. Продискуссируют судьбу-то свою.

Мать только посмеивалась. Есть боязливые люди, вечно

ждут неприятностей, сами радоваться не умеют и чужую радость готовы спугнуть. А разве угрюмым легче живется? Разве счастье к недовольным спешит? Разве зависть помогает удаче?

В тесной комнатенке, где всего-то полтора оконца, одна кровать и едва ли по стулу на каждого, дети ни разу не услышали от матери ворчания и жалоб, что вот, мол, у людей квартиры бывают просторнее, обстановка богаче, одежда моднее, а у нас того нет, другого не хватает. Мать никому не завидовала. У нее свое счастье, она его берегла. Словно предчувствовала, что цены нет ее счастью! Но, пожалуй, мать начинала угадывать что-то в характере своей Валентины, что ее отличало, иногда резко выделяло среди остальных.

Один раз Валя задержалась на комсомольском собрании. Люда и Володя давно спали, стыл укутанный в старую кацавейку ужин. Погасли огни в окнах. Настала ночь, а Вали все нет, и мать в беспокойстве то выходила на крыльцо, то, прислушиваясь, сидела у стола неподвижно. Где она? Что с ней стряслось? Наконец раздался осторожный стук в дверь.

— Мапочка, не спишь? Отвори, пусти нас.

Она пришла не одна. Привела парнишку лет шестнадцати, испуганного, с подбитым глазом, в растерзанной куртке.

— Валя! — ахнула мать.

У нее тоже разорван рукав, и — батюшки! — синяк на виске, и немного подрагивают губы.

— Ничего, мамочка, ничего. Поесть что найдется?

— Она меня от хулиганов отбила, — сказал парнишка, глядя мимо матери в угол. — Четверо напали на меня, а ночь, никого на улице не видать... Покалечили бы меня, а она и бежит, одному как даст, другому... Как на них закричит: «Прочь, бандиты!..»

Мать почувствовала, кровь отлила от лица, потяжелело сердце.

— Валя! Они бы убили тебя.

— Нет, мама, они трусы. Они от неожиданности трусили, мама.

— Валя, а если б убили?

— Мама, так нельзя же бросить человека без помощи. Я и подумать не успела: разве думаешь об опасности, когда надо человека спасать?

Мать глядела на дочь, в ее ясные глаза. «Я знала, что ты такая. Я тебя такую и люблю. Я тобою такой и горжусь!»

Справились с испугом. И обыкновенным тоном:

— Ладно, умойтесь да ужинать садитесь. Я тебе, парень, на полу постелю, хоромы-то у нас невелики.

Валя засмеялась, взглянула на спящих сестру и брата и — шепотом парню:

— А ты стеснялся идти. Говорила я тебе, что мама у меня — мой лучший друг.

Здесь мне хочется прервать свой рассказ и поговорить, читатель, о дружбе. Кого можно назвать другом? Почему у того человека много друзей, а у того совсем нет, а в праздники и особенно в дни невзгод он один? Отчего иной раз рушится дружба? И может ли быть друг на всю жизнь?

Конечно, ты думал обо всем этом не раз. Ты мальчик или девочка, девушка или юноша, у тебя все впереди: труд, книги, искусство, любовь. Хочется кому-то открывать свои мысли о жизни. Хочется говорить, обсуждать все впечатления жизни.

Если тебя привлекает поэзия, наверное, тебе интереснее с тем, кто тоже любит поэзию. Или, скажем, шахматист ищет друга шахматиста. Или вот сошлись двое путешественников, и столько общих воспоминаний и планов их связывает! Словом, мне кажется, общие увлечения и интересы прежде всего определяют дружбу. Если человек чем-то самозабвенно увлечен, увлечение вырастает в дар, в дело жизни, — почти наверняка найдутся сочувствующие его увлечению, найдутся друзья. Почему? Потому что люди, влюбленные в свое дело, бывают обычно интересными людьми. Они много знают, они не равнодушны, не холодны, в них чувствуется внутренний жар, они не будничны и почти никогда не бывают одиноки — люди к ним тянутся.

Вот что, кажется мне, родит дружбу: интерес к делу, творчество, общие взгляды, сердечная щедрость, желание не брать от людей, а, прежде всего, давать людям заботу, внимание, а понадобится,— и реальную помощь! Настоящая дружба, думаю я, дар счастливый и не случайный.

И когда Валя Терешкова сказала: «Мама — мой лучший друг!» — она выразила самое большое и высокое чувство, какое только можно испытывать к матери и какое может мать вызывать в детях. Валя Терешкова знала: мать поймет и разделит ее порывы и стремления. Их сближала не будничность натур — они действительно были друзьями.

Мать опять заболела. И опять тяжело. В доме стало тревожно. Дети старались скрасить мамины печальные дни. Как усердно они скребли и мыли пол, стены, окна, только бы улыбнулась мамочка родная! Не болей, выздоравливай, красивая, заботливая мама!

А когда мать поправилась и слабенъкая еще, вся исхудалая, стала выходить из дома на вольный воздух и солнышко, в семье случились важные перемены. Жизнь ведь не стоит на месте: новые и новые события меняют ее течение, неся вслед за печалью радости. Старшая дочка Люда вышла замуж — первое событие в семье Терешковых. А второе...

— Что-то ты таишь, Валентина? — спросила мать, замечая ее напряженно сосредоточенный взгляд, задумчивую складку на лбу или внезапное веселье и порывистый смех. — Чую, чую, что-то на душе у тебя!

Валя села возле матери на уютном, нагретом солнцем крыльце. Открывается трудный путь перед Валею. Валею Терешкову выдвигают секретарем красноперекопского комитета комсомола. Комсомольцев на «Красном Перекопе» больше двух тысяч. Всех надо знать: кто чем живет, чем силен, а чем слаб. И надо, чтобы красноперекопский коллектив комсомольцев был ярким и деятельным. Чтобы каждый комсомолец каждый день и час помнил и чувствовал, что он комсомолец! Жить по-комсомоль-

ски, работать по-комсомольски, дружить и любить по-комсомольски! Бывают героические и трагические годы, возбуждающие в человеке все лучшее, что есть у него, тогда рождаются герои и совершаются подвиги — так было во время войны, когда советские люди спасали Родину и весь мир от фашизма. А в обычное время?..

Так разговаривала с матерью Валя, сидя на невысоком крыльце, когда над огородом опускался туманный вечер. Раньше на месте улицы 8 Марта лежало болото, прикрытое пружинистыми зелеными кочками, — коровы тонули, вот какая была здесь трясина! Теперь от болота остались влажность почвы, сочная зелень травы да туман, белым облаком наползающий по вечерам на огороды. Валя любила смотреть, как поднимается, падает, тает, рвется туман. Вдруг с пронзительным свистом промчится недалеко тепловоз. Красная звезда стремительно перерезала небо. Куда-то идут поезда, летят самолеты. Разве мы живем в обычное время?

— С твоим, Валентина, характером легко не прожить. А и не в легкости счастье! — неожиданно сказала мать.

Валя поняла, мать поддерживает ее стремление к нелегкости жизни, чувство необычности жизни...

Обычно или нет то, что затеяли комсомольцы, вернее, комсомолки, когда Валя стала секретарем комитета? Однажды на комитете обсудили вопрос: «Как мы живем?»

Не всегда мы красиво живем — неуютно, неряшливо, с равнодушием каким-то ко всему, будто временно, не всерьез. Например, хорошо ли это, что в мужском общежитии, как узнали комсомольцы, грязь, окурки, неприбранность? Как вы думаете, можно слушать Бетховена, лежа в сапогах на смятой постели, когда в углу комнаты навалено мусору, на столе обеды, неубранная посуда?

Мне кажется, люди, не умеющие и не желающие за собой убирать, привыкшие к нечистоте, живущие среди хлама, редко слушают музыку, почти никогда. Чувства их примитивны и грубы, как неприглядно и грубо их существование, которое

они и не стремятся сделать красивее. Мне кажется, ленивая и неопрятная девушка не может испытывать яркой и красивой любви. Юноша, способный плюнуть в комнате на пол, кинуть окуроч, лечь на кровать в сапогах, не может понять стихи Пушкина:

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружающих гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье...

Не читает он Пушкина! А жаль! Он и не догадывается, что его жизнь стала бы во много раз увлекательнее, если бы он умел слушать Бетховена и Пушкина, если бы в доме его был всегда чистый воздух, опрятность радовала глаз.

Так примерно рассуждали комсомольцы «Красного Перекопа» на одном заседании комитета, который вела их секретарь Валя Терешкова. Комсомольцы рассуждали, что коммунизм мы строим не для исполнения догмы, а для того, чтобы люди жили привольно и радостно, чтобы все полнее и богаче была духовная жизнь человека, чтобы человеческие натуры развивались крупнее и глубже. Не надо откладывать на завтра хорошее. Мы сейчас хотим работать и жить по-коммунистически.

Кончилось это обсуждение тем, что комсомольцы отправились в рейд по общежитиям. В одном, молодежном, где было очень уж неприглядно, их встретили грубостями. В ответ комсомольцы вооружились тряпками, ведрами — часа через три комнаты словно подменили: уютно, опрятно. И скажите, какой нормальный человек, вернувшись с работы, не обрадуется чистоте дома, кому не захочется, чтоб и завтра, и послезавтра, и всегда дом был чист и приятен? Словом, ребята зажили по-иному.

Обычна или не обычна эта ежедневная борьба комсомольцев за чистый и здоровый быт молодежи? За превосходную работу в цеху? За активную любовь к родной фабрике? За образованность, культуру?

Валя Терешкова занята с головой комсомольскими делами.

Пообеждать — бегом. Маму навестить — бегом. Прибежит на минуту.

— Мама, как ты?

— Я-то ничего...

— А я хорошо, хорошо, хорошо!..

Из-за болезни Елена Федоровна вышла на пенсию. На фабрику захаживала вроде как в гости. Пришла однажды в завком. Дела особо важного не было. В одном коридоре с завкомом комитет комсомола. Не сказала мать никому, что пришла поглядеть, какой такой комитет комсомола. Приоткрыла дверь. Комната. Светлая, в несколько окон. Полы желтые. На стенах портреты. Ленин. Зоя Космодемьянская, с откинутыми назад волосами. За столом над какими-то бумагами Валя. Подняла глаза.

— Мама!

Мать села за их комсомольский стол под красным сукном.

— Девчонки, девчонки! То, бывало, на фильм вместе сбегает, а нынче и не до фильмов — одна замуж выпрыгнула, другая в комитете руководит.

— Мамоchка, золотце, — расхохоталась Валя, — хорошенькая моя! Все дела да дела! А в кино сбегает, даю комсомольское!

После в этом же коридоре мать встретила секретаря парткома Валентину Федоровну Усову. Дед, бабушка, отец, мать Валентины Федоровны Усовой — все текстильщики, красноперкопцы. И она с юношеских лет ткачиха.

У нее тонкое лицо, с чуть выступающими скулами. У нее мягкий голос, и в то же время чувствуется в голосе твердость. Она похожа на учительницу.

Мать остановилась при виде секретаря парткома. Догадалась секретарь парткома: хочет Валина мать о чем-то спросить. Тоже стала.

— Хотя я свою Валентину и знаю-перезнаю, все ее «за» и «против» взвешены за двадцать-то лет, а все-таки отчего ее именно выбрали? Чем она в комсомольские руководители так уж сгодилась? — спросила мать, потому что хотелось ей услышать, что скажет об ее дочери известная всему «Красному

Перекопу», уважаемая, похожая на учительницу женщина, секретарь парткома.

— Потому выбрали в секретари Валию Терешкову, что человек хороший! — ответила та. — Настоящий человек, немелкий. Необидчива, добра, весела! Легкой работы не ищет. Удивительно даже, как столько разного доброго может в одном человеке собраться!

И секретарь парткома развела руками, удивляясь будто и радуясь.

— Очень даже приятно мне такое услышать, — ответила мать. — Потому что, если руководителями комсомола в первую очередь добрых людей выбирать, комсомольцам от этого хуже не будет, а работа комсомольская выиграет. Однако вот было раз (это когда я в цеху работала): возвращаюсь под вечер со смены, а детишки невелики тогда были, Вовка из первого класса бежит. Бежит, а сам оглядывается — вражда у него была с одним пареньком. А тот парень за подмогой к старшему брату поровил прислониться — брат-то верзила, кулачищи с кувалду, — вот Вовка мой и оглядывается. Вижу, а на заборе Валентина сидит, Вовку дожидается! Карманы камнями набиты: попробуйте сунуться кто к Вовке. Так под охраной из школы и ходил, пока с противником примирения не вышло.

Мать засмеялась, с любопытством ожидая, как секретарь парткома выскажется.

— Так ведь это тоже от доброты, — возразила секретарь парткома. — Братишку она любит.

Но мать покачала головой:

— Доброта добротой, а еще и смелость надобна.

— Что верно, то верно, — согласилась секретарь парткома. — На смелое дело смелость нужна.

Секретарь парткома знала, что уже больше года Валя Терешкова занимается смелым делом. Мать узнала не сразу. Только стала мать замечать: сделалась дочка какой-то легкой и светлой, радостный блеск появился в глазах, словно в предчувствии, — вот явится счастье, вот оно на пороге...

«Не влюбилась ли? — думала мать. — Не диво — красавица, небось ребята заглядываются».

Точно в ответ на ее догадки, Валя вынула дневник и показала матери одну запись:

«Нужно жить всегда влюбленной во что-нибудь недоступное тебе. Человек становится выше ростом оттого, что тянется вверх».

«Так и есть!» — подумала мать.

Валя спрятала дневник, рассмеялась, расцеловала мать:

— Когда сбудется, мама, скажу!

«Происходит что-то», — подумала мать. Но расспрашивать не стала.

А происходило вот что. Как, откуда, когда пришло к Вале увлечение небом?! Не тогда ли впервые вспыхнуло это, как увидела объявление в клубе?

«Внимание! Внимание!

Школа смелых!! Секция парашютизма объявляет прием».

Валя Терешкова, пораженная, стала. Она бегала на лыжах, на коньках, переплывала Волгу туда и назад, прыгала в Которосль с моста, ныряла... И вдруг: «Внимание! Внимание! Школа смелых!!»

Вале ужасно захотелось испытать парашютный прыжок! Пусть хоть раз. Хоть только попробовать. Прыгают же другие!

Она вступила в парашютную секцию на «Красном Перекопе». Изучала теорию и устройство парашюта, нетерпеливо мечтала, терпеливо ждала... Ждать пришлось долго. За все месяцы ожидания Валя не намекнула маме о предстоящем прыжке. А если не сбудется? Зачем зря волноваться, мамочка моя, заботливая? Только после узнала мать, как Валя пришла в Ярославский аэроклуб, в центре города, в особняке бывшего какого-то купчины. Ярославский аэроклуб и до прихода Вали был уже знаменит — тринадцать Героев Советского Союза вышли из его стен во время войны, громили в небе фашистских асов.

Валя остановилась перед портретом в траурной рамке. Сергей Александрович Новожилов (1920—1943), курсант аэроклуба.

ба, красноперекопский парень. Стал пилотом-инструктором. Десять раз подавал рапорт, добивался отправки на фронт. Добился — послали в штурмовую авиацию. В одном бою самолет загорелся. Раненый, истекающий кровью пилот увидел сверху фашистские «фердинанды» и дальнобойные пушки и ринулся вниз. Взлетела в воздух фашистская техника! Погиб бессмертный ярославский Гастелло.

«Наш парень, с «Красного Перекопа». Сережа! Какое славное лицо у тебя, ярославский парень Сережа!»

Валя долго в задумчивости стояла возле портрета. И стремглав побежала догонять свою красноперекопскую группу.

Инструктор аэроклуба, бравый, плечистый, Станислав Морозычев принимал красноперекопцев. Записывал данные. Сколько лет? Где работаешь? Каким спортом владеешь? И тому подобное. У Вали нетерпеливо и весело постукивало сердце. А пальцы холодные. Значит, волнуется все-таки! Как долго не доходит очередь! Скорее бы!

Но инструктор Станислав Морозычев поглядел на часы и спрятал авторучку в пиджачный карман.

— Мне на заседание. Принимай дальше ты, Таня,— попросил девушку, незаметно сидевшую в сторонке.

Валя увидела высокую, тонкобровую девушку, с продолговатыми зеленоватыми глазами.

— Сколько лет? Где работаешь? — повторяя инструктора, продолжала опрашивать девушка, заняв его место.

— Я тебя знаю, ты известная Таня Торчилова,— сказала Валя.

Таня вспыхнула, вскинула брови:

— Уж и известная!

— Ведь у тебя почти сто прыжков!

— Захочешь, и у тебя столько будет.

— Ой, не верится! А страшно прыгать? Неужели я сумею?

— Захочешь — сумеешь. Фамилия? Возраст? Где работаешь?..

Они вместе вышли из аэроклуба: им было по дороге. Таня Торчилова жила тоже за Которослью. Сели в трамвай. Переехали Которосль.

Таня, Таня! Как это бывает? Что ты чувствуешь, когда летишь и тебе навстречу несется земля? Сердце замирает, наверное?

Они сошли с трамвая. Тане прямо, Вале направо.

— Я тебя провожу,— сказала Валя.

Пока дошли до Таниного дома, Валя узнала, что у Тани есть сестры и брат, Таня учится в художественном училище, готовится быть живописцем, Танин отец — машинист поездов дальнего следования...

— И я хотела быть машинистом! — сказала Валя.

Она хотела быть машинистом! В детстве долго любимым занятием было забраться в кусты у железнодорожной насыпи, пританься и ждать, когда издали заслышится стук колес, громче, ближе, нарастая, переходя в грохот и гром,— и мимо с железным ляганием промчится поезд дальнего следования. Куда-то к Тихому океану, где приливы выносят на берег розовые раковины...

— Прошло? — спросила Таня.

Прошло. Валя Терешкова любит свой «Красный Перекоп», свой цех, сугробы белого хлопка, узенькие коридорчики между длинными машинами, свою работу у станка, в комсомоле, любит красноперекопских девчат!

Они не заметили, что идут обратно от Тани к Валиному дому. Дошли до «Красного Перекопа». Вечер. Фабрика сверкает огнями. Слышится ровный, мерный шум станков.

— Слышишь? Всегда-всегда стучит. «В движенье мельник паш живет, в движенье».

— Поёшь! — обрадовалась Таня.— Ты музыку любишь? Ты театр любишь?

— Спрашиваешь! У нас в Ярославле знаменитый Волковский, первый в России театр, да чтобы мы не любили!

Они снова шли к Таниному дому, а туда, наверное, не мень-

ше двух километров. Так они ходили до ночи. И говорили о любимых книгах и музыке, о подругах, о доме. Таня Торчилова шепотом рассказала, что влюблена в инструктора Станислава Морозычева и он тоже, и, наверное, скоро...

— Выйдешь замуж! — шепотом радостно воскликнула Валя. За этот вечер они стали подругами! Неразлучными.

— Завтра встретимся в аэроклубе?

— Ты надеешься, я буду прыгать?

— Ручаюсь! Честное комсомольское слово!

— Спасибо, Таня, вот спасибо! Здорово, что я тебя встретила!

— А когда я пришла в аэроклуб в первый раз — девчата-парашютисток почти нет, — один парень и говорит: «Куда уж вам, с каблучками!» У меня сразу дух и упал.

— Не сдалась?

— Не сдалась.

— Ура! До завтра, Таня!

— До завтра.

Конечно, мать дожидалась возвращения дочки. Лежала на постели, подложив под щеку ладонь. На столе тихо светит лампочка, накрытая бумажным колпаком, чтобы не мешать спать Володе. Володя шофер, наездится за день на грузовике — хоть люстру зажигай, не разбудишь, однако мать накрыла настольную лампочку колпаком из газеты. Поставила на столе прибор, закутала пшеничную кашу в кацавейку. Горько матери, что она не работник. Скучает о цехе, где чувствовала себя хоть небольшим, а нужным и ценным человеком! «Что я теперь? Кому я нужна?..»

За такими невеселыми мыслями застала маму Валя Терешкова, сняв обувь за порогом и входя на цыпочках в дом. Валя вся была под впечатлением своей новой дружбы, ей хотелось нырнуть в постель, укрыться теплым одеялом, и перебрать в мыслях все переговоренное с Таней, и воображать, воображать: прыжок в голубую бездну с крыла самолета, страх и преодоление страха. Но она заметила мамину невеселость. И мгновенно

но забыла о себе. Она удивительно умела растормошить маму, разогнать ее печальные мысли. Будто вдохновение какое осеняло Валью! Так бывает с людьми, одаренными чутким сердцем.

Мать преображалась. Опять любопытно матери жить! Интересно слушать о Тане Торчиловой, художнице, парашютистке... Парашютистке! Что-то тревожное шевельнулось в мозгу... Но мать не перебила. Мать слушает, а в мозгу сверлит: «Парашютистка! Парашютистка!..»

— Ты в аэроклубе познакомилась с Таней?

— В аэроклубе.

Теперь мать уже почти точно знает, что задумано Вальей, но не спрашивает. Не спросит, пока Валя не скажет сама.

Почему? Как вы думаете, почему? Неуверенность, что дочь ей откроется, удерживала мать от вопроса? Самолюбие, может быть? Мне кажется, совсем другое чувство заставляло Елену Федоровну, такую разговорчивую и откровенную с детьми, в иных случаях промолчать, не расспрашивать. Деликатность — драгоценное свойство! Деликатный человек никогда не навязчив, не надоедлив, не заденет вас неуместной шуткой, не сделает вам неловкости, отойдет в сторону, когда вы хотите побыть в одиночестве, не будет во что бы то ни стало допытываться, что у вас на душе.

В тот первый вечер Валя не сказала маме, что хочет прыгать с парашютом. Боялась разволновать, не хотела. А когда сказала, мама, давным-давно обо всем догадавшаяся, уже была подготовлена. Мать привыкла к необычности поведения Вали. Другие девушки ходят в швейный кружок, учатся кройке, шитью. Разумно? Разумно. Другие танцуют до упаду на танцплощадке. До упаду, может, и лишне, однако когда и поплясать, как не в молодости? Притащится старость — не затащешь!

А моя? То в комсомоле, то в техникуме, то в аэроклубе! То приведет свою Таню Торчилову, поставят в радиолу пластинку и слушают весь вечер Бетховена. И от музыки кажется матери,

не зря прожита жизнь. Не прожита жизнь, много еще ее впереди, много хорошего в жизни! Спасибо, девочки, вам за Бетховена! Чаю хотите? Дайте-ка вскипячу!

Валя в аэроклуб пришла в декабре, а первый прыжок был только в мае. Шел дождичек с утра в этот день. Мать видела затаенное беспокойство в глазах Вали, чуть побледневшие щеки и шутила, собирая дочку на аэродром. Там учились парашютному спорту, упражнялись в прыжках.

— Знаю, знаю, где будешь прыгать. Корову нашу Тамару мы с тобой из деревни в город вели мимо этого аэродрома. Вот уж не думала, не гадала, что парашютисткой станешь... Аэродром этот ваш — пустое поле, зеленое. Широко. Только береза на краю поля стоит. Стоит одинокая... Гляди, не зацепись парашютом-то своим за березу!

Сначала грустной показалась Вале мамина речь, а под конец рассмешила:

— Мама, салют! Привет, мамочка!

И она убежала.

Солнце встало. Тучи разошлись. Разведрилось. С их крылечка видно далекое-далекое зеленеющее поле, видны равнинность, просторы, синева горизонта. Мать отправила Валу и села на крылечке.

Ей знобко. Она кутает плечи в платок. Утреннее, высокое небо яснее.

Мать представила: вот ребята собрались возле аэроклуба и моя Валя там. Тоже небось мурашки по коже бегут. Подали автобус. Привезли ребят на аэродром. Свежая нежная майская зелень. Жаворонки поют-заливаются. И Которосль наша неподалеку течет. Вечером через Которосль видны огни нашей фабрики...

Мать представляет: вот Валя пристегнула за спиной парашютные ремни и взошла по лесенке в самолет. Взмыл вверх самолет. Вон летит, видит мать, кружит над полем. Вон оторвалась от самолета темная точка, ринулась вниз, несколько беско-

печных секунд, гром, свист ветра в ушах, бешено мчится навстречу земля, и... белый купол парашюта раскрылся и плавно закачался в воздухе, медленно поплыл вниз, и узенькая, еле видная фигурка мирно покачивается под куполом! Дочка моя, ласковая моя! Мать не знала, Валя Терешкова не знала, никто не знал, что этот прыжок — первый шаг к подвигу, который навеки впишет ее имя в историю человечества.

Сейчас инструктор Морозычев, сама Валя, ее подруга Танюша знали только, что первый прыжок — проба сил.

Первый прыжок совершают за год в аэроклубе многие юноши и девушки, а остаются и становятся спортсменами человек пятнадцать — двадцать всего! Валя осталась. Научилась управлять куполом, раскрывать запасной парашют, выполнила за месяц два прыжка на точность приземления, а это не шутка! И получила третий разряд.

Работа в комсомоле, аэроклуб, тренировка, прыжки, дружба с Таней, музыка — даже для сна мало времени, совсем мало у Вали свободного времени. Она еле успевает поделиться с мамой самым главным! Сейчас главное — увлечение небом. Мама слушает, охает, ахает и тоже увлекается небом. Может быть, вы думаете, она не боится за Валью? Боится. Будь хоть сотый, хоть двухсотый прыжок, все равно мама боится, ждет не дождется, когда хлопнет калитка и Валя бегом (непременно бегом!) вбежит в сад.

В дни прыжков они просыпаются вместе, чуть свет, мать кормит Валью завтраком, провожает и стоит на крылечке. Вернется в комнату, поделает что-нибудь. Выйдет. Снова стоит. Далеко, далеко, километров за десять видно их учебное поле. Поднялся самолет. Покружил. Отделилась темная точка. Камнем падает вниз, и сердце у матери падает. Прислонившись к дверному косяку, она не дыша глядит. Уф, отлегло. Белый купол раскрылся, плавно опускается на зеленый лужок. И страху как не было! «Молодец, Валентина! Мне бы молодость, я тоже неробкой была».

Она сравнивает Валин характер со своим.

«И я не уступила бы!» — думает мать, видя, как настойчиво учится Валя искусству парашютных прыжков.

Первые прыжки давались свободней. После застопорилось. Надо идти дальше, добиваться второго разряда. Не выходит.

— Что это значит, Валя, второй-то разряд?

— Это, мамочка, значит овладеть затяжными прыжками.

— Видно, мудреное дело?

— Мудреное, мама!

Мать вздохнула. Может, вы думаете, стала отговаривать Валу? Ничуть! Ведь она знала, что, если бы сама была молода, ни за что не сдалась бы! Билась бы, пробовала пять, десять, двадцать раз!

Вале никак не давались затяжные прыжки. Надо лететь камнем, не бояться мчащейся тебе навстречу земли, в точно назначенную секунду раскрыть парашют. Ни секундой раньше! Неправильно откинула во время падения руку — и пойдет вращать, крутить, выворачивать руки и ноги, пылает в глазах огненный обруч, в ушах больно колотится. Что-то не умела Валя схватить в искусстве затяжного прыжка.

— Танюша, что делать?

— Тренироваться, Валя!

Она тренировалась. С парашютом на учебном поле. Как Олег Попов на батуте. Делала сальто, раскручивалась. Без конца! Чуть шею не свернула. Стала гибка, как циркачка. Добилась. Победила. Получила второй и первый разряды.

В эту весну 1961 года, в один холодноватый апрельский день, радио принесло весть о великом событии. Советский корабль-спутник «Восток» впервые поднялся в космос с человеком на борту, совершил полет вокруг земного шара и вернулся домой, на Советскую Родину.

Мать одна была дома, слушала радио. Узнала все про Юрия Гагарина мать. И откуда он, и какая у него семья и родные, и как он из космоса с Землею говорил, и какой он простой и решительный парень. Весь день повторяло радио весть про Гагарина. Мать слушала.

Прошло меньше года, и она проводила дочку в Москву.

Может быть, кто-то и знал, куда и зачем отправляется Валя Терешкова. Может быть, если не знала, догадывалась о чем-то секретарь парткома Валентина Федоровна Усова. Недавно Вали приняли в партию, вручили партийный билет. Тезка, Валентина Федоровна Усова, поздравляя, как-то особенно крепко пожала руку, особенно долго поглядела в глаза. А Танюша Торчилова, теперь жена Станислава Морозычева, обнимала, целовала Валию, провожая на вокзале:

— Горжусь, восхищаюсь, желаю! Сделаю, Валя?

— Сделаю!

Такой у них был пароль и девиз: «Сделаю? — Сделаю!»

Добьемся, победим, не отступим!

А может, никто ничего не знал, и все думали, что Валентину Владимировну Терешкову действительно приняли во вторую сборную команду по парашютному спорту СССР. Будет завоевывать первенство в международных соревнованиях, брать мировые рекорды. Счастья тебе, Валиуша!

Поезд тронулся, вагоны покатались, мелькнули в окнах извивы Которосли, корпуса родного «Красного Перекопа». До свидания, «Красный Перекоп», до свидания, мама!

Мать скучала. И радовалась. И рисовала картины новой Валиной жизни в Москве. Ученья. Вудущего. Будущее представлялось не совсем ясно.

Необычная какая-то, интересная жизнь, не похожая на ту, какую мать знала и видела вокруг. Необычное, неизведанное всегда мать и влекло.

Она жила теперь вдвоем с Володей на новой квартире из двух комнаток невдалеке от фабричных корпусов. Люда отдельно, с мужем и ребенком. Люду мать навещала частенько, а к Вале собиралась.

«Постой, нагряну к тебе во вторую сборную, вот случай выпадет, и нагряну», — думала мать.

Случая пока не выпадало.

А дни шли да шли своим чередом, без Вали обыкновеннее,

будничнее — утром Вовку на работу отправить, приготовить обед, полы вымыть, Люду проведать, с внучкой понычаться. И каждый день ждать письмо. Письма приходили аккуратно, заботливые и ласковые. Мать между строчек читала рассказ о Валиной напряженной работе. Мать догадывалась: что-то важное делает Валя во второй сборной СССР. Но даже приблизительно не представляла истинной правды.

В воскресенье 16 июня 1963 года в Ярославле с утра шел частый, меленький дождик. «До вечера зарядил», — подумала мать. Сестра матери, Вера Федоровна, звала в воскресенье завтракать к себе, на улицу 8 Марта. Больше пятнадцати лет прожили там через стенку, по полтора окошка у каждой сестры.

И не очень хотелось Елене Федоровне идти в гости к сестре под дождем — и дома бы чаю напилась, но раз обещано — надо, и сестра Вера любимая, самая близкая. В трудные годы, когда мать одна кормила троих ребятишек, подарит, бывало, девочкам по платишку — то-то заскачут девочки от радости. «Пускай дождь, а я пойду», — решила мать.

И пошла на улицу 8 Марта пить чай к сестре. Сестра встретила ее хлопотливо и радостно.

— Жду не дождусь, все глаза в окно проглядела! Чай вскипячен, завтрак готов, садись поедим.

Мать скинула пальто, села за стол. Придвинула чашку.

— Чайку попьем да давай в город съездим. Купить кой-чего я надумала, посоветуешь, а?

— Съездим, пожалуй. Я не против.

Так они сидели за чаем, неторопливо беседуя о разном, как вдруг...

Мать опустила блюдце на стол, обратив на сестру застывшие от внимания и непонятной, какой-то невыносимой тревоги глаза.

Вдруг по радио:

«16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли вы-

веден космический корабль «Восток-6», впервые в мире пилотируемый женщиной — гражданкой Советского Союза космонавтом товарищем Терешковой Валентиной Владимировной».

Еще не дослушав, мать знала, чье имя услышит. Разум понимал, а потрясенное сердце не понимало, не верило.

«Это не моя Валентина, это другая! Моя во второй сборной с парашютами прыгает!»

Встала, прижала тяжелые руки к груди, смотрит слепыми глазами на черный круг репродуктора:

— Это другая...

— Слушай, слушай! — вся трясаясь от волнения, повторяет сестра.

«...«Восток-5» и «Восток-6», пилотируемые гражданами Советского Союза товарищами Быковским Валерием Федоровичем и Терешковой Валентиной Владимировной...»

— Слушай, слушай,— твердила сестра.

— Зачем мне не сказали?

Из глаз матери полились слезы, она не вытирала лицо.

— А я знала, что Валя полетит, знала! Нет, ничего-то не знала я, ничегошеньки. Эх вы, матери не сказали! Эх, Валя... Валя, дочка, где ты, как ты там в космосе, далеко от земли, далеко? Что ты там? Боязно, чай, тебе?..

Тут они увидели в окошко — к дому подомчали машины. Одна, другая. Выскочили люди с фотоаппаратами. И бегом на крыльцо.

— Что это? — удивилась мать.

Уже стучали в дверь. Уже входили фоторепортеры, корреспонденты. Лихорадка и возбуждение наполнили комнату. Защелкали аппараты.

— Вы мать Терешковой? Вы Терешкова? Скажите, Елена Федоровна... Тише, товарищи.

Фотоаппараты щелк, щелк.

Вдруг слезы высохли. Мать утихла. Больше не плакала. Невысокая, худенькая, с огромными тревожными глазами, она

молчала, слушала, что говорят, удивленно смотрела вокруг. Отвечала на вопросы. Сама не спрашивала.

— Болит, чай, у матери сердце,— говорили соседки.

— Как не болеть! Вон у меня деваха на целину по комсомольской путевке поехала, и то беспокоишься. А тут на-ка — меж звездами летает.

Дождь припустил сильнее. Мать повезли на машине к «Красному Перекопу». Там она увидела площадь перед фабричными корпусами. Полна площадь народу. Проливной дождь лил весь этот день в Ярославле, а народ толпами шел и ехал на трамваях, автобусах, машинах к «Красному Перекопу», шел и ехал, не обращая внимания на дождь.

Ворота на фабричный двор распахнулись. Начался митинг. Какие праздничные лица у всех! Радостные слова. Вон обнимаются люди. Что-то кричат. Вон красными флажками размахивают. А вон портрет над толпой. «Батюшки светы, да ведь это моей Валентины портрет! Хорошие мои! — думала мать, больно прижимая к груди руки.— Разве без вас я бы их вырастила, ребятишек моих, Валентину мою, космонавтку?! Вон вы какие хорошие, радоваться как умеете, гордиться за победы наши умеете, вот Валентина среди вас такая и выросла, бесстрашная да волевая».

Мать не сумела высказать людям свои возбужденные мысли. Не надо. Зачем? Все и без слов понимали радость и тревогу маленькой бледной женщины, темные глаза которой, казалось, становились все темней и огромней.

— Спасибо, люди! — сказала мать. Не помнит, сказала что еще или нет.

— Тебе, мать, спасибо! Спа-си-бо те-бе!

Ее непрерывно окружала толпа участливых и любопытных людей. Ее обнимали, дарили цветы, фотографировали, расспрашивали. Повезли на студию телевидения. Там слепили глаза прожекторы.

На улице лил дождь. На улицах сквозь дождь мать видела плакаты: «Ура, нашей Вале! Ура, нашей «Чайке»!»

Всюду из репродукторов ставший уже близким, родным торжественный голос передавал через недолгие промежутки сообщения ТАСС, полученные с борта «Восток-6», с борта «Восток-5».

«Их там двое. Все-таки двоим-то смелее», — думала мать.

Она устала. Побывать бы без людей, хоть недолго. Что-то важное надо было ей вспомнить, о чем-то подумать. А люди все шли, шли, шли к ней в дом: и свои, родные и знакомые, и чужие. Дверь не закрывалась. Не умолкали расспросы, дружеские речи. Мать устала. В парткоме догадались — прислали человека, инженера, коммунистку Софью Ивановну.

— Идемте, Елена Федоровна, отдохните.

Она увела мать от корреспондентов и репортеров к себе, в свою чистенькую, всю в белых скатерках и занавесочках, комнату. Заперла дверь. Стало тихо. Совсем тихо.

— Прилягте, усните.

Мать прилегла. Закрыла глаза. Она не надеялась уснуть. Разве уснешь? О чем она хотела подумать? Да, вот о чем. Ее берегли. До последней минуты не говорили ей, что дочь полетит в космос. А что за космос такой? Чернота там, конца нет, холод. Как представишь, какой холод там... А я и не знала, что ты лететь собралась. А если бы ты, Валюша, дочка, спросила: «Мама, лететь?»

Мать лежала с закрытыми глазами в тихой комнате инженера Софьи Ивановны и думала, думала...

Сейчас, когда я пишу эти строчки, я представляю ее. Я представляю мужество матери, которая растила и ободряла отважный характер дочери, и в эти необыкновенные, воистину необыкновенные трое суток, когда дочь, милая девушка с золотистыми волосами и девической светлой улыбкой, совершала беспримерный по новизне и бесстрашию подвиг, мать поддерживала ее, слала привет.

Подвиг матери. Подвиг любви и мужества. Как все люди нашей планеты, я восхищаюсь смелостью Вали Терешковой.

Я восхищаюсь ее матерью. Хрупкой, не очень здоровой. Я уважаю ее сильное и стойкое сердце.

Вспомните. Полет в космосе совершался не час и не два. Сутки. Вторые сутки. Третьи сутки.

Темными от волнения глазами мать смотрит в черный круг репродуктора.

«Моя Валя докладывает правительству: «Системы корабля работают отлично. Чувствую себя хорошо».

Который виток вокруг Земли? Идут вторые сутки. Спите, Елена Федоровна, все спокойно. Слышите, Валя докладывает: самочувствие отличное.

— Мама, усни! — просят Володя и Люда.

Володя уже взрослый, мужчина, бережно гладит матери руки:

— Все будет хорошо, мама.

— Знаю, сынок. А помнишь?..

Ей вспоминается, вспоминается. Все трое суток она почти не спит. Рядом с ней то Володя, то Люда.

Хороших детей вырастили вы, Елена Федоровна, можете гордиться своими детьми. Вы их растили без отца, в нужде и нехватках, работали без усталости. «Если бы не болезнь, и сейчас не оставила бы цеха, нипочем не оставила бы!»

Возле нее, не отходя ни на минуту, Софья Ивановна Ушкевич. Тоже не спит.

Радио включено. Неторопливый торжественный голос рассказывает всему миру о Вале. Десятый, пятнадцатый, двадцатый виток...

Тридцатый виток вокруг Земли. Космонавты Валерий Быковский и Валентина Терешкова чувствуют себя хорошо.

Включен телевизор. Вспомни, читатель, что ты пережил и почувствовал, когда на экране перед тобой возникло нежное девичье лицо в шлеме космонавта. Вот сосредоточенно, серьезно. Вот улыбается. Снова серьезно. Милая Валя Терешкова! Сколько сот километров отделяет ее сейчас от Земли? Вдруг ты почувствовал, читатель, твое сердце колотится часто и сильно,

горло стиснули слезы. Как ты восхищаешься Валею, как горячо ты желаешь ей благополучно вернуться на Землю!

А что пережила, перечувствовала мать, когда появилось на экране изображение дочери? Валя. Вот изображение растаяло...

Тридцать пятый виток вокруг Земли. «А то один раз...» Мать вспоминает. За трое суток, пока Валя летит в космосе, мать вспомнила и рассказала Софье Ивановне всю свою и Валину жизнь.

«Она любит людей, моя Валентина, оттого и к ней люди льнут».

...Осенью 1961 года Валина любимая подруга Таня Торчилова закончила художественное училище и пошла работать в школу. Мечтала стать художницей... Может, и станет еще. А сейчас в школе учит ребят рисованию. Первое сентября. Утром свежо, пахнет осенью. В садах неслышно падают желтые листья.

— Мамоchка,— сказала Валя утром,— у меня нынче комсомольский комитет, долго протянется, дел неотложных тьма, а ты мне помоги.

— Рада помочь, да чем?

— Купи огромный букет самых красивых осенних цветов!

Любопытно матери, зачем ей цветы. Но расспрашивать не стала и пошла на базар покупать огромный букет белых и розовых осенних астр. К вечеру Валя вернулась, нарядно в комnате от астр.

— Спасибо, мамочка! Первое сентября, Таня Торчилова пошла первый раз в школу! У Тани Торчиловой началась новая жизнь.

Она приделась, надушилась и побежала с астрами в аэроклуб. Они не уславливались с Таней. Валя знала, что в свой важный день Таня непременно придет вечером в аэроклуб. Аэроклуб был для них вторым домом, там кипела молодая, другая жизнь. А к Тане Торчиловой пришла там любовь,— после они всем клубом отпраздновали Танину свадьбу со Станиславом Морозычевым.

Матери нравится, что Валя цветами поздравила Таню! Догадалась, устроила праздник. Незабываемый день — начало труда. Будь ты хоть самый спокойный на свете человек, все равно волнуется сердце. В этот вечер было и матери празднично. Она ходила по улочке, под высокими осенними звездами, слушала шум поезда, долетающий издали, треньканье трамвая, гармонию, и хорошо было у нее на душе. Сердечная у меня дочь. Еще когда на работу в комсомол выдвигали, вот еще когда секретарь парткома Валентина Федоровна Усова заметила: удивительно даже, сколько доброго может вместить в себе человек!

Тридцать девятый виток.

«Вот еще, никогда я не слыхивала, чтобы Валя неправду сказала. Может, думаете, приукрашиваю? Может, скажете, нельзя, чтобы человек был совсем без недостатков, хоть что-то плохое есть в человеке? Жизнь — не сказка, скажете вы, только в сказке все хорошо». Так мать рассуждала, воображая какого-то недоверчивого собеседника. И отвечала: «Ничего не могу вспомнить за Валею плохого. Вся хорошая».

Сорок девятый виток. 19 июня 1963 года. 11 часов 20 минут по московскому времени.

Из репродуктора льется бурная музыка. Затяжные дожди кончились в Ярославле. Разнесло тучи. Проглянуло солнце. И началось летнее, теплое утро.

Мать ждала у репродуктора прекрасный торжественный голос, она привыкла к нему за трое суток и ждала... Передавали музыку. Вдруг в дверь к Софье Ивановне застучали. Изю всех сил, торопливо. Не дожидаясь ответа, вбежала Валентина Федоровна Усова, секретарь парткома. Она задыхалась, не могла выговорить слова.

— Что? Что? Что? — закричала мать, протягивая руки. И медленно опустилась на край постели. — Что?

— Валя приземлилась. Звонили из Москвы. Велели сказать матери. «...В соответствии с расчетом космические корабли «Восток-5» и «Восток-6» приземлились в заданных районах. Валентина Владимировна Терешкова, герой-космонавт...»

Мать закрыла руками лицо. Долго так сидела. Молчала. Вскоре голос сообщил по радио всему миру: «Космические корабли благополучно приземлились...»

А затем для матери началась вовсе новая, счастливая жизнь, но о ней я не буду рассказывать. Мать заслужила почет и любовь, какими ее окружили дети, ее прославленная дочь-героиня и все советские люди. Мать заслужила любовь и почет, потому что в трудные годы была верным другом дочери, делила ее порывы и поиски, понимала пылкость ее души, поддерживала ее смелость и прямоту, любила ее необыденность. Может быть, мать не умела высказывать все это словами, но разве в словах дело? Валя Терешкова всегда чувствовала в матери верного друга.

Когда на пресс-конференции, посвященной успешному полету кораблей «Восток-5» и «Восток-6», Терешкову спросили:

— Назовите самого дорогого для вас человека на земле.

— Самый дорогой для меня человек на земле — это мама, — ответила Валя.

Теперь Валентина Владимировна сама стала мамой. У нее родилась дочка. Единственная девочка во всем мире, чьи отец и мать — космонавты: мать — Герой Советского Союза космонавт Валентина Владимировна Терешкова, отец — Герой Советского Союза космонавт Андриян Григорьевич Николаев. В честь мамы Валентина Владимировна назвала дочку Леной.







ИДУТ КОРАБЛИ...

не пришлось однажды поехать в Оренбург, степной город на берегу студёной реки Урал, отделяющей Европу от Азии, которая вот просто так и начинается с этой шири и неоглядных полей. Когда вы стоите на краю Европы, видя с высокого берега крутые извивы Урал-реки, просторы, синюю мглу горизонта, воображение невольно подскажет вам картины Пугачевского народного восстания здесь. «Славным мятежником» называл Пугачева мятежный Пушкин.

Нынче от Москвы до Оренбурга на скором поезде меньше тридцати часов. Пушкин ехал сюда на перекладных несколько суток. День и ночь, в холодную осеннюю пору. Я перечитывала в вагоне «Капитанскую дочку». Вот они плывут мимо окна, Оренбургские волнистые степи, где когда-то Петрушу Гринёва настиг буран.

Не думала я, что и мне придется испытать похожий буран!

..Солнце встало ясно в это утро, и, хотя ветерок покалывал щеки, в городе пахло весной.

— Рискнем, поедем? — спросил шофер Саша Шереметьев.

— Почему — рискнем? — удивилась я.

— Дуло ночью.

— И что?

— Вы впервой у нас? — вопросом на вопрос ответил он.

Скоро мы были за городом. Весело было катить на нашем быстром вездеходе по слегка переметенному тракту.

— Часа за четыре доберемся? — спросила я.

Саша ответил уклончиво:

— Загад не бывает богат.

Пока все шло отлично. Мы изредка ныряли в ухабы, врезались в косые сугробы, которые все чаще стали пересекать дорогу. Но вот тонкий, несильный с утра ветер поднялся и вдруг помчал по степи, неся тучи снега. Небо заволокло серой пеленой, и замело, засвистело.

— Зима озимки вытряхивает, — сказал Саша Шереметьев.

Вездеход наш умерил прыть. Мы ехали тише. Сквозь иглу завиделось что-то темное. Подъехав ближе, мы увидели остановившийся караван грузовиков. Дорогу перемело.

— Вот так песня! — сказал Саша Шереметьев.

Выскочил и пошел советоваться к шоферам грузовиков. Вездеход не на ходу довольно быстро остыл. Слышался свист метели, сквозь щели дверцы на колени мне насыпало сугробики снега.

— Пробиваться будем? — спросил Саша вернувшись. И достал лопату откапываться. Он враскачку вел вездеход, выпрыгивал, снова брался за лопату.

Мы перевалили через занос. Грузовики остались на той стороне, а мы медленно отмеряли километры вперед. Наш вездеход буксовал в снегу, выбивался из сил.

Саша Шереметьев говорил: «Вот так песня!» — и выскакивал из кабины откапываться.

Мы откапывались каждые полчаса. Нас вытаскивал трактор,

высланный из ближнего колхоза на помощь. Мы ехали снеговой высоченной граншей — это поработал за зиму бульдозер.

Метель утихла почти сразу, как началась. Наступил вечер. Темнее, глуше стало вокруг. Вдруг в ночном сумраке сверкнул огонек. Еще. И вот уже совсем недалеко целая цепочка огней, целое озерцо теплых светляков. Это светят среди чиста поля окна совхоза «Россия». Сюда нам и надо.

Приехали. Сто десять километров мы одолевали двенадцать часов. Да, оренбургские бураны не шутка, даже в наши дни вездеходов и тракторов.

— Это что! — сказал Саша. — Напоследок зима пошутила. Январские, февральские бураны — те настоящие пушкинские... Тирру. Милости просим — гостиница!

Гостиница из трех комнаток, с горячей плитой на кухне, где гостеприимно фыркает чайник, с чистейшими постелями — да это рай, суший рай после такого денечка! Поесть, напиться чаю и спать. Но мне долго не спалось. Я ворочалась на узенькой кровати. Душа моя была беспокойна из-за завтрашней встречи с Николаем Ивановичем.

Теперь надо мне объяснить, почему и зачем я попала в совхоз «Россия» к Николаю Ивановичу Гузаревичу. Что я знала о нем? Что он давний директор совхоза. Что хороший директор, что хороший совхоз. Но таких директоров и совхозов в Оренбургской и других областях можно встретить немало. Есть и лучше совхозы. Что еще я знала о Николае Ивановиче? Что у него два сына, оба директора разных совхозов. Вот это уже не так часто встретишь, не на каждом шагу.

В конце концов я все же уснула. А проснувшись утром в гостиничной комнатке, снова невольно вспомнила Пушкина:

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;

.

А нынче... погляди в окно...

Во все оконца низенькой комнатки сияло несказанной синевы чистейшее небо, и до самого неба, нетронутый после вчераш-

ней метели, белый-белый снег. Нигде я не видела такой изменчивости снега, игры света и красок. Может, оттого, что здесь много простора? Утром, на восходе солнца, снег розовый, нежный; вас охватывает праздничное чувство, вам кажется, что-то в сегодняшний день случится хорошее, какая-то придет радость. Днем, когда солнце высоко, снег сверкает миллиардами искр. Перед закатом потянутся по снегу тихие сиреневые тени. В сумерки разольется голубизна, все голубое — небо, воздух, снег...

Между тем в дверь постучали. Вошел Николай Иванович. Довольно костлявый, высокий, можно сказать, долговязый, с длинным, изрезанным морщинами лицом, которое, когда он снимает шапку, кажется еще длиннее из-за высокого лба. Черные глаза внимательны, пристальны, то серьезные, то добры. Они говорят, а сам Николай Иванович оказался не очень речистым. Вынул носовой платок и принялся вытирать лоб. Долго вытирал, потом сунул платок в карман и объявил:

— Хозяйство продемонстрирую, на вопросы отвечу, что требуется, расскажу, а писать обо мне — не пишите.

— Да почему же? Если найдется, о чем написать?

— Нет уж, нет! Пишут про выдающихся, а я самый что ни на есть обыкновенный советский человек.

— А мне и хочется про обыкновенного человека написать.

— Трудненько, я думаю? — спросил он.

Я рассмеялась. Ох, трудненько! Не знаешь, с чего и начать.

— Давайте, Николай Иванович, начнем с того, что познакомимся, как у вас в совхозе «Россия» живут люди.

И мы вышли на звонкую от утреннего мартовского морозца улицу. Управляющая, она же уборщица и истопница гостиницы, проводила на крылечко:

— В случае, будете уходить, ключи здесь оставляйте.

И положила ключи на подоконник снаружи дома, на виду.

— Не очень вы запираетесь, — заметила я.

Она ответила:

— У нас не воруют.

Действительно, у них не воруют.

Уходя на работу, они оставляют двери незапертыми или повесят замок для виду, чтобы знали: хозяев нет. А ключ положат, как в гостинице. Никто не войдет в дом, не возьмет вещь соседа.

Честность воспитывается с малого. Мне кажется, человек, привыкший быть честным в малом, в быту, надежен и в большом, государственном деле. Если же человек способен украсть у соседа, он и у государства способен украсть. Разве не так?

Вот о чем мы разговорились с Николаем Ивановичем, выйдя из гостиницы в то утро и оставив на подоконнике ключи.

— Здравсте, Николай Иванович. День добрый!

С ним охотно здороваются. Он всех знает, его все знают. Еще бы! Он директором в совхозе «Россия» восемнадцатый год.

— Золотой народ! Наш народ благодарный, трудолюбивый, отзывчивый, его на важную задачу, хоть самую трудную, можно поднять. Особенно если жизнь веселит,— говорит Николай Иванович.

— А она веселит?

— Сами глядите.

Центральная усадьба совхоза «Россия» — большое селение, с просторными улицами; там и тут слышны петухи и спесивые гуси; и направо поля, и налево поля, и кругом ты в полях. Но вот входим в дом...

Более половины совхозных семейств живут в новых домах. Понастроены они за последние годы. Люди не хотят больше жить в бараках. Люди производят для государства хлеб, кормят народ и хотят жить хорошо и привольно. Хозяйки радушно водят нас по квартирам: кухня-столовая, с плитой и посудой, часто холодильником, а то и стиральной машиной; детская комната, у окна которой, стараясь не капнуть кляксу в тетрадь, ломает голову над задачей прилежный первоклассник; спальня родителей, с чистой постелью, с пирамидой пышных подушек (недаром во всех деревнях и поселках Оренбуржья бродят стада белоперых гусей), и в каждом доме предмет тщеславия, радости и усердной заботы хозяек — парадная комната, по-здешнему —

зало. Здесь благоговейный порядок, белизна, накрахмаленные занавески на окнах, этажерка с книгами, радиоприемник или телевизор и непременно, у всех без исключения, в большой цветочной кадке широколапое дерево с красными и розовыми цветами. Называется здесь это дерево китайской розой. Как оно забрело сюда, в Оренбуржье, не знаю, но видела я его всюду, в разных селах разных районов.

Не так давно мне пришлось ехать на машине из Москвы в великий Новгород. Первоклассное шоссе стремительно летело вдоль сел и деревень, названия которых врезались каждому в сердце со школьной скамьи. «Я взглянул окрест меня—душа моя страданиями человечества уязвлена стала»,— писал Радищев о жизни крестьян всей России, увиденной им на этой дороге.

У нас была определенная цель, которая вела нас мимо сел: Марьино, Будово, Колоколенка, Зимогорье и многих других, уязвивших когда-то душу Радищева страданиями. Мы не останавливались возле домов, но, проезжая, видели крепкие стены и прочные крыльца, уютные палисадники и — что веселее всего осталось в памяти — яркое, алое цветение гераней на окнах. Было от этого как-то удивительно празднично.

На первый взгляд кажется — деревенская жизнь всюду похожа, на самом деле она разная. Вот, например, по-разному в разных местностях украшают жилье. Под Новгородом любят герани, стараются друг перед другом богаче и цветистее их выводить. Наверное, за каждым таким, манящим алыми зонтами окном скрываются свои незадачи и горести, не сплошь за геранями счастье, но что-то милое и благородное в любви к цветам.

В Новгородской же области, а еще больше в Ярославской, Владимирской, Горьковской издавна существует искусство резных наличников. Сколько прихотливости, улыбки и вкуса в узорах деревянного кружева! Приглядитесь, у каждого дома наличники своего рисунка, в каждом рисунке мастерство и фантазия и немного русской сказки.

Новые дома совхоза «Россия» на вид просты, не украшены.

Ни налличников, ни затейливых крылец. Вокруг на десятки километров не только нет леса, даже рощи заметной. Степь и степь. Налличников не понаделаешь — не из чего. И вот появилось нарядное, раскидистое дерево в зале, зимний сад.

— А что, ведь люди от плохого бегут,— разговорились мы с Николаем Ивановичем.— Если человек любит свою работу, семью, жилье, удовлетворен и покоен, побежит он из совхоза?

Николай Иванович подмигнул черным глазом!

— Не только от нас не бегут, к нам отбоя нет, просятся.

Сказав так, он вытащил из кармана огромный клетчатый платок, вытер лоб и виски и покачал головой:

— Недостатков у нас! Не сочтешь. Колонки на улицах видите? Провели водопровод, а не довели до ума, то есть до каждого дома. Силенок не хватило. Или упорства. Нет уж, не пишите про нас. Лучше я вас к соседям пошлю...

Однако пока что мы отправились в клуб. Там четыре раза в неделю кино. Но прежде меня потянуло в библиотеку. Дело в том, что в недавнем времени случилось мне побывать в одной московской школьной библиотеке, обсуждать с ребятами различные вопросы. Зашел разговор и о книгах. Тут, к удивлению моему, выяснилось, что ребята не читают Тургенева. Почти не читают, кроме немногих произведений, что входят в программу. Ребята эти, с которыми произошла у меня встреча, отнесли Тургенева к устаревшим писателям, мысли и чувства Тургенева не годятся для нашей жизни, по мнению этих ребят. Не буду описывать жгучий спор, разгоревшийся между нами, непримиримый спор, пока мне не явилась в голову удачная мысль взять с полки томик и без предисловий начать:

— «Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаич, да Владимир Петрович.

Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.

— Итак, это дело решенное,— промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закулив сигару,— каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви».

Я прочитала ребятам вслух четыре главки подряд, закончив: — «Мне вдруг стало очень грустно... Я силился не плакать... я ревновал к гусару».

Нечего говорить, что среди моих слушателей не нашлось никого, кто не захотел бы узнать, что следует дальше. На другой день библиотекарьша позвонила: за Тургеневым очереди!

Оказывается, он ничуть не устарел, умный, светлый писатель Тургенев! Оказывается, он понимает, видит и насквозь знает юную душу! И хотя наша современная жизнь совсем не та, что у героя рассказа «Первая любовь» или у Лизы Калитиной, Аси и Елены, но как благородны их чувства, безгранична любовь, самоотверженна и мужественна дружба, как увлекательны сюжеты Тургенева и живописен язык! Жаль ребят, чьи отрочество и юность пройдут без Тургенева.

Само собою понятно, мне захотелось узнать, что же читают в совхозе «Россия». Читают там почти исключительно зимами. В зимний сезон библиотекарю работы хоть отбавляй! Библиотекарь — дед, Георгий Феногентович.

В библиотеке его около 7000 томов, а читателей 80% населения, значит, из каждых десяти человек восемь — чтецы. Иногда запойные, в месяц по двенадцати — пятнадцати книг прочитывают.

Георгий Феногентович с достоинством выкладывает передо мной формуляры. Скурындин Петр Ефимович, скотник. Горин Николай Андреевич, тракторист. Цешнати Федор Павлович, шофер. Трифонова Александра Петровна, домохозяйка... Ай-ай! Девушка-служаящая — две книги всего прочитано. Зато у этой — шестнадцать. Что они читают? Художественную современную прозу. Приключения. Научную литературу. И классику — Горького, Толстого, Тургенева, Бальзака, Генриха Манна, Гюго...

— Дожил бы до наших дней Владимир Ильич! — неожиданно вырвалось у меня после библиотеки и клуба.

Впрочем, почему неожиданно? В последние годы я много раз замечала: когда люди добиваются не для себя, а для народа чего-то большого и важного, когда в жизни советского общества

происходят значительные события,— образ Ленина встает в наших мыслях. Живой, живо участвующий в нашей деятельности. Вот мне кажется, поглядев клуб и библиотеку совхоза «Россия», Ленин сказал бы: «Это архисерьезно, ввести книгу в привычку и культурную потребность сельского жителя! Книга уменьшает разрыв между сельским и городским бытием. Это очень серьезно и здорово!»

— Но...— смущенно вставляет директор совхоза Николай Иванович, вытаскивая клетчатый платок из кармана,— недостатков-то, недостатков еще! Вот и клубу нашему до городского еще далеко, книг мало — что нам семь тысяч! Школа старенькая, в детском саду мест не хватает. Строим, строим жилье, а все мало! А производство? Механизация? Хромает механизация наша! Животноводству сто верст до отличного. А химия? Много еще не решенных задач!

Мне кажется, и на эти слова Николая Ивановича Ленин улыбнулся бы и, возможно, сказал: «Архиважно ставить верные задачи перед собой и народом и хотеть их решать».

В белорусском городе Орше третий день работало республиканское совещание директоров совхозов. В это утро, как обычно, сошлись в клубе завода. Прозвенел колокольчик. Докладчик поднялся и стал говорить. Николай Иванович внимательно слушал, быстрым почерком вписывая в блокнотик схваченную мысль. В жасминовом кусту под раскрытым окном незатейливо чирикали воробьи. День был яркий, знойный, не располагающий к деловым совещаниям. На речку бы, в лес! Нынче воскресенье, наверное, кончим пораньше...

Вдруг Николай Иванович увидел — в комнату торопливо вошел человек. Нагнулся к председателю. Председатель вскочил.

И тут, включенное кем-то, заговорило радио:

«...вероломное нападение Гитлера...»

Стала страшная тишина. В тишине Николай Иванович слышал медленно падающие слова и редкие удары сердца, от которых заломило в груди.

— Совещание кончилось,— сказал председатель.— Товарищи, все к себе по местам.

Все поднялись. Николай Иванович увидел, как в секунду осунулись лица, отрешенно глядели глаза.

Через пятнадцать минут Николай Иванович ехал в совхоз «Адаменки», на полпути между Смоленском и Витебском. Гитлеровцы уже бомбили Витебский аэродром. Это было воскресенье 22 июня 1941 года, первый день войны, разрубивший жизнь надвое: до и потом.

Работа, дом, дети, совхоз «Адаменки» с яблоневыми, смородиновыми и малиновыми садами, сотнями гектаров картофельных полей, резвой речушкой и такими дремучими лесами окрест, что лесий заблудится,— все отрублено. Прощай, все! Николай Иванович чувствовал уже себя солдатом.

В «Адаменках» ждала повестка: явиться на призывной пункт. Обнял жену и мальчишек: Евгению, старшему, тринадцать, Гарику шесть.

— Берегите мать. Растите честными.

Забегал на конеферму. Коней в совхозе «Адаменки» было две сотни. Николай Иванович любил лошадей. Обхватил вороного тонконогого жеребца, прижался, слыша, как нервно вздрагивает у щеки теплая лошадиная шея. Ну, не дрожи, не бойся. Прощай.

...Ольга Михайловна собирала самые необходимые вещи, свои и ребячьи. Прислали из конефермы: собирайтесь, прихватим в эвакуацию. Двух недель войны не прошло, приказ: эвакуировать скот.

У Ольги Михайловны вещи валились из рук. Уезжать в эвакуацию, а Женя исчез. Крепкий, плотный, с тугими щеками, он был нешумлив и самостоятелен в свои тринадцать лет, старший сын, Евгений Гузаревич. Куда он удрал?

— Сиди хоть ты! Не вставай с места, сиди!..— молила мать младшего, Гарику.

Евгений же, перебежав знаменитый адаменский сад, где на утренней заре падали с яблонь на землю яблоки и, никому не

нужные, вяли, дожидался на станции маневренного паровоза. Не кататься на подножке, как он любил до войны, воображая себя командиром бронепоезда, героем, а упросить знакомого машиниста, с темным от угольной пыли лицом, взять на войпу. Пусть подкинет Женьку Гузаревича на передовые позиции! Может, встречу отца...

Не взяли Женьку Гузаревича на войну. Страсть его к поездкам и моторам пригодилась в далеком Краснохолме на Черной речке в Оренбургской области.

Вон куда занесло беженцев Гузаревичей, без вещичек, без ложки и плошки, без сменной рубашки. Уехали из дому, как с пожара. Что и навязала Ольга Михайловна в узлы, не успели взять: низко над «Адаменками» летели фашистские самолеты бомбить Вязьму и Смоленск. Ржали и били копытами кони. Радио говорило: оставлены пункты. Уже не так далеко от «Адаменок» оставлены пункты. Потом, чтобы люди не падали духом, играла по радио музыка, а людям от музыки еще страшней, непонятней...

В оренбургском колхозе, куда забросила судьба Гузаревичей, нет тех садов и лесов, что в «Адаменках», нет своего дома, нет отца, нет досыта хлеба. Ребятам постоянно хочется есть. Сны снились про хлеб и рассыпчатую пшеничную кашу. Что-то всегда мешало наесться во сне каши. Просыпались от голода. Мать отдавала ребятам свой паек. Ешьте, я уж наелась. Ребята не догадывались, пока мать не слегла с распухшими от голодовки ногами.

Когда весной с полей сошел снег, эвакуированные кинулись собирать с земли осыпавшееся в прошлогоднюю уборку зерно, мололи на самодельных жерновах и... валились от мучительной отравы, рвоты и колик.

Выросли на погосте могилы. Случайность спасла Гузаревичей — не наелись лежалым под снегом зерном. Копали изрытые картофельники, искали мерзлый картофель. Толкли в ступке, месили лепешки. От мороженой картошки тоже резь в животе, но не до смерти.

Пришло лето. Табуны тощих черных мальчишек рыскали по полям и степи в поисках съестного — дикого лука, чеснока, щавеля. В это время Жене Гузаревичу и помогла его техническая смекалка и от совхозного механика, отца и машиниста урывками схваченные знания. Повезло. Взяли работать помощником моториста на поливе колхозного плодопитомника. Мотористом был слабосильный старик, из-за старости не призванный в армию. Выучил себе помощника, Женьку. Голый, в заплатанных трусах, медно-красный от солнца, с выцветшими волосами, Женька крутил, крутил, крутил колесо маховика, пока не закрутится в глазах синий вихрь. Тогда надо перевести дух, вытереть соленый пот на лице, оглянуться. Женьке дали зарплату, добавочный паек. Стало получше, а все равно не сыты. Ольга Михайловна с Гариком ходили удить рыбу на озеро. Выловят пяток окуньков, сварят уху, несут Женьке на работу обед.

— Хлебца бы, мама!

— Женечка, нету хлеба. За завтраком весь хлебец съели. Желудевого, хочешь, пожуй.

Кислый, кляклый хлеб из желудей, тяжелый, как камень. Так прожили всю войну, даже дольше: отец ушел в первые дни, а вернулся через полгода после победы над Гитлером.

Великое счастье — возвращение с войны отца! Долго-долго не слышно было в доме низкого голоса, крепких и твердых шагов мужчины, горьковатого запаха табака; долго-долго не ставился к завтраку стакан с черным от крепости чаем, не висел на гвозде солдатский ремень и выстиранная, выглаженная матерью гимнастерка на стуле, пока, фыркающая и брызгаясь, вымоется под рукомойником хозяйня. Появились газеты. В доме не водилось столько газет без отца! В маминых глазах заблестела улыбка, улыбается голос, улыбаются морщинки у губ.

А отец не нахвалится:

— До чего ты у нас, мать, хороша! До чего молода!

Мать краснеет от смущения и, верно, становится молода, хороша, — за всю войну ребята ее такой не видали!

Отвоевавшийся отец жадно рвется к работе. Скорее давайте

мне самое трудное дело! Давайте самый упавший совхоз! Справлюсь, ничего не страшусь. Четыре года на войне в глаза смерти глядели, чего теперь нам страшиться?

В Белоруссию, в совхоз «Адаменки», отец не поехал. Ничего у Гузаревичей не осталось в «Адаменках» от бывшего полного дома, ни кола ни двора. Приютило семью Оренбуржье, не дало пропасть в войну, так пускай здесь и будет наш новый дом. Все надо начинать заново. А старое — то, что нигде работать не хочет отец, кроме как в совхозе.

— Куда хотите пошлите, куда надо пошлите, пускай придется нелегко, я еще в силе, а кому и осиливать трудности, как не нам, бывшим солдатам?

Дали Гузаревичу-отцу в Оренбуржье нелегкий совхоз, можно сказать, среди трудных труднейший. Земли этого совхоза расположены на вершине водораздела, здесь, на возвышенности, рождаются роднички и утекают, а в совхозе рек нет. Бурно сбегают с возвышенности, не напоив досыта землю, весенние воды, зимами дуют злые ветры, сдувают с полей снега, налетают суховеи, жгут посевы засухи; неровный рискованный климат — первая трудность. Вторая, третья, четвертая — после войны почти нет рабочих-мужчин: тех убило, те пришли с фронта без руки, без ноги; ослабели женщины от непосильной работы, измучались с разутыми, несатыми ребятишками; поля не ухожены, земли запущены, скот к весне полужив, десяток стареньких, еле от износа пахущих тракторов — вот и вся техника; жилье — землянки да угрюмые развалюхи бараки; голодно, нище, безрадостно.

— Надо на дорогу совхоз выводить, — сказали в обкоме.

— Берусь, — ответил отец.

Двое суток ехала семья от Оренбурга до совхоза на лошади. Стоял январь, трескучий мороз, тонко визжал от мороза под полозьями снег, стыло дыхание, а в совхозе ждала наших новоселов вытопленная кизяком жаркая печка, щи с бараниной, накрытый чем-то белым стол, отчего в комнате казалось нарядно, будто на встрече Нового года. Белое на столе было простыню,

которую отцу повезло купить по ордеру в городе,— отец употребил ее вместо скатерти, чтобы праздником встретить семью. Ребята сели за накрытый стол с непривычки пугливо, а как налили в миски щи с бараниной, забыли обо всем, так наелись, что раздуло животы, от сытости трудно стало дышать, щеки после мороза горели, мать смеялась, шутил отец — это было счастье, настоящее счастье, редкое счастье в те жестокие годы после войны, когда почти не увидишь в сборе за столом всю семью, с весельем и шутками. Коротенький, однако, был праздник — первый вечер приезда, и все.

Со стола сняли белую простыню. Начались будни, работа. Отец — директор совхоза. Мать — учительница в школе. Отец неделями пропадал в полях.

— Отдохни, выспись хоть ночку, неужто уж так ни часу не могут без тебя? — просила мать.

— Не они, а я не могу, — отвечал отец.

Исхудалый, с черными запавшими глазами, он приезжал с поля всегда неожиданно, днем, вечером, ночью, принося с собой запахи ковыля и пшеницы, наспех ел, что-то важное рассказывал матери, а за окном фыркал невыключенный мотор вездехода, торопя отца: скорее, скорее!

Едва доев обед или ужин, отец ласково говорил матери: «Ложитесь нынче спать без меня, не дожидайтесь», — и уходил крупными шагами. Мальчишки выбегали за ним на крыльцо, но только пыль столбом по дороге: отец до завтрашнего утра укатил на поля. Мальчишкам любо, что отца касается все в совхозе: он должен объехать все отделения, всюду успеть, должен все знать, все уметь, за все отвечать. Надо, надо, надо! И интересно. Недаром лицо отца, на котором каждое новое лето все глубже выписывает морщины, будто чем-то освещено изнутри. Даже если отец озабочен. Отец озабочен почти постоянно, но не суетится, не плачется, что у совхоза «Россия» трудные земли, что не хватает рабочих рук и техники, того не хватает, другого...

Братья Гузаревичи не росли пай-мальчиками, им случалось

доказывать товарищам свою правоту кулаками. Иногда и неправые, они пускали в ход кулаки, им случалось удирать с уроков и проваливаться на экзаменах, но они знали: долг есть долг. Долг во что бы то ни стало надо выполнить. Они знали, отцов долг — поставить хозяйство на ноги. Чтобы чахлый совхоз окреп и стал мощной фабрикой хлеба, чтобы осенью непрерывным потоком шли на элеватор машины с зерном, чтобы сытые коровы щедро доились на скотном дворе, чтобы люди, которые производят для государства хлеб, кормят народ, жили богато, привольно, чтобы люди эти не бежали от полей, любили свой труд на полях.

Много пройдет лет, пока все исполнится. По-настоящему расцветать совхоз стал после 1953 года. А перелома добились раньше. Однажды случилось событие — подослали техники, пришли новые тракторы. Гарик и со всего поселка ватага товарищей неслись глядеть, щупать, гладить чистенькие, лишь с дороги запыленные тракторы, запоминать наизусть колеса, рычаги сцепления и тормоза: пощастливится — и в кабине посидеть. Гарику двенадцать лет, машины и тракторы его страсть. Так когда-то в совхозе «Адаменки» страстью отца были кони. Теперь и отец считает технику владыкой полей. Нечего и говорить об Евгении! Еще до войны пропадал часами на станции, машинисты маневренных поездов все знали тугощекого мальчонку с жадными от любопытства глазами, который, вспыхивая радостью, виснул на подножке паровоза, чуть кочегар подмигнет: «Ладно уж, испытай».

Теперь Евгений в армии, на далеких Курильских островах. Пишет: «Работаю с техникой...»

Одна мать в семье Гузаревичей не понимает машины. Мать преподает в школе литературу и пение. Вечером дожидается, бывало, с поля, от тракторов и комбайнов, мужчин. Когда они трое, отец и сыновья, с обожженными ветром и солнцем лицами, надышавшиеся степным воздухом, входят в дом, тяжело ступая, большие и сильные, она думает: «Никого нет на свете счастливее меня!»

Она дает им есть. Ей приятно глядеть, как, поработавшись, они с аппетитом едят. Потом, если в хозяйстве не посев, не уборка, не сдача урожая и не другая страда, мать вопросительно: — Споем?

Сама принесет аккордеон. Кто-нибудь из сыновей станет играть, они душевно, согласно поют, мать видит задумчивую тишину в глазах отца, он курит, стряхивает пепел, ловит голос матери, высокий, вплетающийся в голоса сыновей:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестят;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

— Ребята, а видали, как звезды между собою говорят? — вдруг спросит отец.

Мать понимает, ему нравится пение! Ему хочется сейчас сказать сыновьям, что ни на какие богатства и славу не променял бы он свою работу в нелегком оренбургском совхозе. Больше, шире, сильнее входит в совхозный труд механизация, десятки комбайнов, как в море корабли, выплывают на поля убирать урожай, сотни машин увозят по осени зерно государству, хлеб наш насущный! Мы пашем для него поля, мы сеем его, жнем и молотим, мы ссыпаяем его в народные закрома, он течет в элеваторы золотистой тяжелой рекой. Ночь. Пахнет осенью над сжатыми полями, далеко где-то догорает одинокий костер (видно, запоздали перегнать на усадьбу рабочий вагончик), стрекочут кузнечики, и все огромное небо над степью усыпано звездами. Вот когда они говорят! Стоишь, слушаешь.

Так или не так рассказывал отец сыновьям о сельскохозяйственной работе, о своей любви к земле, сыновья с детства знали: у отца важный, почетный труд. Им и в голову не приходило искать для себя где-то другое дело. Им интересно в совхозе.

А пока, задолго до моей встречи с семьей Гузаревичей, Евгений служит срок в армии, а Гарик гоняет колесо по дороге, изображая трактор. Или, выпросив у тракториста руль, учится

водить всамделишный трактор. Когда, у кого научился водить машину, никто не заметил. Впрочем, отец просто забыл, что сам не раз и учил.

Как-то надо было ехать на станцию километров за восемьдесят принимать поступившие для совхоза грузы. Подошла за отцом машина «ЗИЛ-150». Пока отец, наспех как всегда, перед отъездом обедал, сын перемахнул через борт, устроился в кузове на брезенте. Так полдороги лежа и ехал, закинув за голову руки, глядя на белые летние облака, которые то сходились, образуя валы, как на сенокосе, то разлетались, словно стаи диких гусей. На полдороге, когда все равно уж домой не вернешь, Гарик объявился, поднял в кузове голову. Ну ничего, отец промолчал. Даже усмехнулся, выйдя из кабины на остановке размять ноги: хитер, мол, парень, ну ничего.

Отец остался по делам на станции, шофер повез груз домой.

— Поедем, — позвал Гарика, — вдвоем веселее.

— Рулить дашь?

— Маленько-то дам.

Поехали. Столбики с километрами помчались навстречу. Станция позади. По сторонам волнистая степь.

— На, рули, — сказал шофер. — Сцепление знаешь? — Поглядел, хмыкнул: — Да ты не по-игрушечному. Дорога знакома?

— А что ей незнакомой-то быть? Вот она прямо идет, никуда не сворачивает.

— Тогда веди, а я посплю.

И уснул. И Гарик остался один за рулем грузовой машины «ЗИЛ-150», с гордостью чувствуя, как чутко она отзывается движению руля под его руками, она его слушает, эта тяжелая громадина с несколькими тоннами груза.

Как ни прямо дорога вела, а довела до перекрестка. Гарика казалось, он едет, как надо. Прешло некоторое время: что такое? Та степь и не та. Кусточки по обочинам. Вон в поле оставленный трактор. Трактора не было. Вон тех скирдов не было. Гарик понял: заблудился. Шофер крепко спал; наступал ве-

чер. У Гарика тряслись от волнения поджилки. Будить шофера или самому как-нибудь справиться? Развернуть машину назад? Ему не приходилось разворачивать машину, он не решался. Дорога становилась все уже, уже. Вечер все темнее. Дорога перешла в тропинку. Уперлась в овраг. Гарик успел заглушить машину. Стоп. Темная ночь вокруг. Поднялся ветер. Со свистом понесся по степи. Шофер в испуге проснулся.

— Где мы? Что мы? Ты куда завез, ах ты такой-сякой, а хвалился, что знаешь дорогу? Вези обратно, разворачивайся.

— Я не умею.

— Сумел завезти, умеи и вывезти.

Гарик напряг все силы и волю, собрал все соображение — развернул машину, весь в холодном и горячем поту. И погнал назад, освещая фарами бегущую перед глазами, таинственную ночную тропинку.

После был рад, гордился, что вышел из положения. Был рад, когда отец, узнав о происшествии, сказал:

— Без опыта, брат, ничему не научишься. Свой опыт учит.

Отец сказал именно то, именно так, как, по мнению Гарика, и надо было сказать. Отец всегда говорил то и так. Ни разу, ни единого раза за всю жизнь не случилось, чтобы было что-то в поступках отца, о чем сыновья подумали неуважительно. Были неудачи. Он мог ошибиться. Мог прийти в гнев, грохнуть кулаком по столу. Но он был настоящим человеком.

— У тебя батька — во,— говорили Гарика совхозные мальчишки, поднимая большой палец вверх.— Он тебя не дерет?

— За что ему меня драть?

Случилось вот что. Средней школы в совхозе в те поры не было, кончали десятилетку в районном центре, в восемнадцати километрах. И Гарик там учился, жил самостоятельно, жил на квартире. Самостоятельность иногда подводила. Слишком характер был активный. Не сиделось смирно на скучных уроках, что-нибудь да выкинет, противоречащее школьным правилам. Довыкидывался — схватил за поведение тройку.

В один прекрасный, как говорится, день, вернувшись после

этого из школы, застает на квартире отца. Отец нередко бывал в райцентре по совхозным делам. Конечно, наведается к Гарику. Посидит, порасспрашивает, выпьет чайку, оставит гостинец от матери. Сейчас вынул из портфеля написанное красными чернилами письмо и без расспросов:

— Читай.

Гарик читает. Классная руководительница пишет отцу:

— «Уважаемый Николай Иванович, всеми уважаемый человек в нашем районе...»

А дальше красными чернилами в подробностях о недостойном поведении сына.

— Как тебе это нравится? — спросил отец, подождав, пока сын дочитает до последней точки и подписи.

— Правильно все, — ответил сын.

Отец затаился, пустил длинную струю дыма:

— Ну вот, знай.

Взял письмо и уехал.

Гарика поразило, что отец его не ругал. Было за что. Плохо Гарик вел себя на уроках. За дело поставили по поведению тройку. Классная руководительница описала все правильно. Почему отец его не ругал?

Милый читатель, почему, как ты думаешь? Сыновья считали, отец в трудных случаях говорит всегда именно то, именно так. А сейчас?

Так или иначе, Гарику не хотелось больше выкидывать на уроках номера. Не хотелось, и все. Но нельзя сказать, что он стал показательным учеником во всех смыслах.

Наступили выпускные экзамены. Скоро школа прощай. Здравствуй, жизнь! Школа прощай, но сколько чудесных воспоминаний останется в сердце навсегда, на всю жизнь! Скучных уроков будто и не было. Было узнавание нового, были комсомольская жизнь, драмкружок, вечера, книги, и споры, и дружба. Была большая, крепкая дружба с комсомолкой Раей, подвижной, тоненькой, как пруттик, бесстрашной девчонкой. С ней любили говорить о жизни, о справедливости, правде.

Решай, мой читатель, справедливо или нет то, что произошло с Георгием Гузаревичем на выпускном экзамене по математике. Математиком он был преотличным. И Рая способна к математике. Это их тоже сближало.

Пришел день экзамена по письменной алгебре. Полкласса дрожит. Озабоченно нахмурены лбы, пока учительница, перерисовывая пополам доску, пишет формулы, задачи. Для первого ряда, для второго ряда... Вдох облегчения. Вдох разочарования. Заскрипели перья.

На письменном экзамене, как известно, сидят по одному. Сзади Георгия, на беду его, — девушка, которая хоть и кончит десятилетку и получит аттестат зрелости, а жизнь проживет умственным недоростком, так и не сумев решить самостоятельно ни единой задачи, не только по алгебре. Словом, это была довольно туповатая и ленивая девушка, которая, едва списав условие задачи, толкнула карандашом Георгия в спину:

— Подскажи.

Всем известно, подсказывать нельзя. Нельзя, а он подсказал. А может, надо ей дать только первый намек, а там своя голова заработает? А может, она растерялась?

Учительница услышала подсказку.

— Георгий Гузаревич, делаю замечание.

Георгий Гузаревич лихорадочно обдумывает задачу. Пишет — черкает, черкает — пишет. Снова карандаш в спину.

— Сама соображай, отвяжись! — защищается Георгий Гузаревич от ленивой, не умеющей думать девицы.

— Гузаревич, подскажи! Подскажи, Гузаревич!

Он злится и снова подсказывает.

— Гузаревич! — слышится раздраженный голос учительницы.

Сами посудите, был повод раздражаться учительнице? Запрещены подсказки? Запрещены. Правильно, что запрещены? Правильно. Но была учительница эта недобра и не любила Георгия Гузаревича. За что? За остроту языка, излишнюю живость, насмешки. Учительнице казалось, Георгий Гузаревич своими

насмешками ведет класс против нее, против ее обидчивой подозрительности и неповоротливой мысли.

— Гузаревич! Делаю второе, строгое замечание. Предупреждаю: на третий раз отправлю из класса.

Георгий обдумывает задачу. Карандаш возбужденно строчит. Пишет — черкает. «Ведь слышала же девчонка,— думает Гузаревич Георгий,— слышала, что предупредила учительница, не будет больше толкать карандашом, знает, какая надо мной нависла опасность».

Но снова карандаш в спину:

— Гузаревич, спаси, погибаю!

Погибает! Такую ерунду подсказать просит, для серьезного человека — просто смех! И он улучил момент, обернулся:

— Чучело гороховое, вот что надо...

Учительница тут как тут:

— Тебя предупреждали? Сдавай работу.

— Я с черновика переписать не успел.

— Сдавай.

Сгреб в охапку черновые листы — сдал. Вышел из школы на улицу, пропавший, отчаянный. Подвернулся знакомый из совхоза шофер.

— Захвати до дому.

— А что, захвачу. Отчего директорского сынка не уважить?

Примчались в совхоз. Не заходя домой, Георгий до поздней ночи возил к сеялкам на машинах зерно. Работал за двоих, дивя всех злостью и удалью. Устал. Еле волоча ноги, вернулся домой. Дома отец.

— У тебя математика нынче? Сдал?

Будто вниз с высоты полетел, в глубокий колодец полетел от вопроса отца Гузаревич Георгий.

— Не сдал.

— Отчего?

Пришлось рассказать. В семье Гузаревичей врать не любили. Сыновья не врали отцу. Георгий Гузаревич выложил всю правду.

Как ты думаешь, читатель, что ответил отец, как рассудил эту историю?

Прав сын? Нет, неправ. Подсказки запрещены. В другое время помощи отстающему, а на экзамене показывай каждый, кто чего стоит. Сын виноват. Учительница права. А все-таки неужели не жалко учительнице хорошего ученика, почти лучшего своего ученика? Неужели не дрогнуло сердце у этой учительницы, когда он, сутулясь, пошел большими шагами из класса? Ведь по черновику видно, что Георгий Гузаревич выдержал экзамен. А ленивая девица, которая знала, что подводит товарища, она где? Другая бы восемнадцать километров бежала бегом, чтобы сказать одно слово: «Прости!» Сказать: «Не падай духом, Георгий!»

Где она, эта девица? Нет ее.

Прибежала Рая, тонкая, как прут, светлоглазая:

— Хочешь, после школы поедем вместе навсегда, куда хочешь?

И руками взялась за горло, и ждет...

А отец вот что сказал:

— Я этой осенью в институт поступлю. Хоть запоздало, высшего образования добьюсь, хоть заочно. Думал, вместе будем студентами.

Сын удивился. Отец, бывший солдат, директор совхоза, опытный, практичный, знает хозяйство лучше иного ученого агронома, собрался в студенты! Молодец, папа! И отчего-то свободно и бесстрашно стало у сына на душе.

— Будем вместе студентами, не отстану, не беспокойся,— сказал сын.

— Не беспокоюсь. Я твое самолюбие знаю,— усмехнулся отец.

Этим и кончился разговор. На все лето Георгий пошел работать на комбайне в отцовском совхозе. Хорошо на сердце, вольно и весело, когда сотни гектаров идут, идут комбайны пшеничными полями. Как корабли. Идут корабли. Днем и ночью. Днем и ночью. Идут, идут. Валится пшеница. Густыми реками

стекает зерно. Вырастают косматые вороха ломкой соломы, и всюду по степи горят маяки костров, всюду жизнь, перекличка голосов, шум машин, идет битва за хлеб. Что ты, Рая, никуда я не уйду из совхоза. Я люблю эти битвы за хлеб, эти бескрайние поля, совхозные порядки люблю, совхозный рабочий класс!

Иногда откуда-то из ночной темноты выныривал вездеход отца.

— Гарик! — звал голос отца, силясь перекричать грохот комбайна.

— Здесь! — кричал сын.

— Норму удержишь?

— Держу.

— А выше?

— Стараюсь.

— Ну, успехов тебе!

И вездеход под зеленым брезентом исчезал, чтобы вынырнуть так же внезапно где-нибудь возле другого комбайна. Оставит ли полководец поле сражения, пока сражение не кончено? Отец всегда казался сыну полководцем, особенно в посевные и уборочные страды. Отец почти не знал сна. Телефон в отцовском доме звонил в любой час дня и ночи. Пятое отделение вызывает. Второе вызывает.

— Николай Иванович, у нас в отделении...

— Что? Слышу. Да. Понял. Буду сейчас. Что? Буду скорее. А вы не паникуйте там!..

И вездеход под зеленым брезентом, день и ночь в страдные месяцы стороживший у дома директора, урчал, дрожа всем корпусом, шарил фарами широкую, белую от пыли дорогу и мчался в пятое отделение, второе отделение.

Ночами отец почти всегда сам водил вездеход.

— Шоферу надо отдохнуть, — говорил отец.

— Тебе не надо? — говорила мать.

— Надо, да нельзя.

Мать знала, что нельзя. Вот кончим уборку...

Уборку кончили. Георгий, не готовясь, выдержал переэкза-

меновку по математике в школе и поехал в Оренбург узнавать про институт.

— Решил не отставать от отца? — усмехнулся отец.

— А ты думал?

— Ну, давай добивайся.

Отец никогда не делал за сыновей то, что они сами обязаны сделать. Вот, например, никому, ни матери, ни сыну, и в голову не пришло, что можно бы отцу облегчить для Георгия дорожку в институт. Позвонить бы, послать письмо, съездить к начальству... Нет, нет!

Отец прожил сиротское детство, бедную юность. Сыновья помнят отцовский рассказ, как бабушка из своей юбки спила ему штаны с разноцветными клиньями, как из-за этих клиньев проклятых он повернуться стеснялся, как мальчишкой работал на спичечной фабрике, потом в лесничестве и наконец много лет подряд — в совхозах. И учился сам, и работал, и прожил жизнь гордо, не зная, что за птица такая — протекция. Не зная извилистых тайных дорожек. Вот такая дорожка — вот Николай Иванович надевает парадный костюм, с белой рубашкой и галстуком, «запрягает» свой вездеход и едет в Оренбург к начальству: так, мол, и так, я такой-то директор совхоза «Россия», обо мне и в газетах писали, а сын меньшей мой в сельскохозяйственный институт поступает, так нельзя ли повнимательнее к нему отнестись? То есть? То есть держат, к примеру, экзамен трое, а место одно, одного только принять можно...

Ух, в жар бросает Николая Ивановича! Представить только! Вот, позабыв гордость, спрятав в карман самолюбие, вдруг он идет хлопотать: «Сделайте исключение сыну. За мои заслуги».

От стыда извелся бы Николай Иванович, если бы с ним такое случилось! Но с ним такого случиться не может. И главное, за что честь отцу и хвала, не может случиться и с его сыновьями, чтобы когда-нибудь, в чем-нибудь обратились к отцу за протекцией. За советом, да. А чего обязаны сами добиться, сами и добивайтесь. Ребята, у вас самолюбие есть? Гордость есть у вас? Комсомольское достоинство есть?

Георгий Гузаревич дождался попутной машины и покати́л в Оренбург. Ему было семнадцать лет без четырех месяцев. У него еще и документы не хотели принимать. Уверенный, смелый, напористый, он явился к декану механического факультета:

— Разрешите вступительные экзамены держать.

— Молод.

— Успею постареть.

— Тебя что на механический влечет?

— Машины, техника.

— Что ты в технике знаешь?

— Вездеход «ЗИЛ-150», трактор, комбайн, комплексную механизацию полеводства...

Ему разрешили держать экзамены. Трое суток он не спал, перечитывал учебники. Выдержал экзамены. В доме стало двое студентов, скоро трое студентов. Вернулся из армии с Курильских островов Евгений и сразу — учиться на курсы главных инженеров совхозов.

Жизнь идет, меняется, зовет к новому! Не зовет к новому жизнь в нашем обществе только равнодушных людей, только сонных, ленивых.

Ночью потянул юго-восточный ветерок. Все дни неистово сверкавшее, но еще зимнее солнце спряталось в это утро. Небо плотно облегли облака. У плотины над ручьем, при въезде в совхоз, в тополях и ивах закричали грачи, чувствуя приближение тепла, и Николай Иванович сказал:

— Как бы не начало таять?

Мы подружились за эти дни. Встречались каждый день то в недавно выстроенной, еще пахнущей свежей масляной краской конторе, то на скотном дворе или в ремонтной мастерской, где готовились тракторы и плуги к посеву, то в доме Николая Ивановича, где такие же крашеные полы, пирамиды подушек почти до потолка и раскинувшаяся на полкомнаты китайская роза, как во всех домах совхозных рабочих и служащих. Мы разговаривали о жизни совхоза и вообще о жизни.

— Страна поднимается, и мы поднимаемся,— говорил Николай Иванович.— Погодите, добьемся: всего будет вдоволь.

У нас еще не все переговорены разговоры с Николаем Ивановичем, но юго-восточный влажный ветер задувает сильнее, как бы и верно не пошли таять снега, не разлились по области ручьи и речушки, тогда недели две из совхоза «Россия» не выбраться.

Рано утром тот же Саша Шереметьев на том же испытанном вездеходе увозил меня из совхоза. Длинный, в длинном черном пальто Николай Иванович стоял на дороге.

— Желаю, чтоб исполнились самые трудные ваши желания! — уже отъехав, прокричала я на прощание.— Чтобы комплексная механизация на полях и скотном дворе была полностью, чтобы урожай, урожай, и сады... и дома... и школу новую!..

Вездеход взял скорость и помчал, разбрызгивая из-под колес подтаявший снег. Николай Иванович все стоял и стоял на дороге, вытирая платком лоб.

— Переживает вроде, вот так песня! — сказал шофер Саша Шереметьев.

Может быть, Николай Иванович «переживал».

Как все деятельные, одаренные люди, отдающие всю душу работе, он мало думал о себе, никогда не был занят собой, не вспоминал прошедшее. Зачем? Заниматься собой неинтересно, а вспоминать прошедшее... Зачем? И некогда. Вырвется свободный часок — лучше газету, журнал почитать.

Но вот приезжает писательница и ходит за ним по пятам один, второй, третий день. Писательнице надо как можно больше знать о Николае Ивановиче!

— Да ведь я обыкновенный, самый обыкновенный человек! — сопротивляется Николай Иванович.

А писательнице и важно рассказать своим юным читателям о том, какие интересные у нас в Советской стране «обыкновенные» люди! Их миллионы. Они составляют народ, эти «обыкновенные» люди! Они-то и строят, и создают все, что мы видим и знаем вокруг, чем мы пользуемся и живем.

И, может быть, кто-нибудь из моих читателей, прочитав в этой книге о Николае Ивановиче, задумается о своем отце и узнает многое, раньше скрытое от невнимательных глаз, и в сердце его всколыхнется благодарность и нежность. Спасибо вам, отцы, защитившие Родину от фашизма, сохранившие детству детство, построившие электростанции, заводы, ракеты и дома для людей, отцы, открывшие детям путь в коммунизм!

— Когда он после войны к нам приехал, круто за хозяйство взялся,— сказал Саша Шереметьев.— Я-то не помню, а народ, говорят, жаловался. У, дотошный, сквозь землю видит, покоя не даст! Сначала не нравилось, а теперь поняли, что цены нашему директору нет.

Мы выехали из совхоза «Россия». Остались позади его широкие улицы, белые домики, фермы с коровами, тракторный парк и школа, где, должно быть, сейчас заливается колокольчик к уроку. И Николай Иванович шагает по чавкающему снегу в своих больших сапогах, перебирая в уме, что намечено на сегодняшний день по работе...

Евгений Гузаревич вернулся из армии, приехал с Курильских островов. Он и на Сахалине служил, где только не пришлось бывать! Но вернулся он из армии в родительский дом. И на другое же утро после приезда пошagal рядом с отцом оглядывать обширное хозяйство совхоза.

— Гляди, гляди, папа, тракторный парк! И грузовые машины новейшие! А было-то всего-навсего десяток захудалых тракторишек колесных. Гляди, папа! — восклицал он, показывая отцу машины, совхозные постройки, недавно посаженный сад, будто тот и не знает, что нового заведено в совхозе «Россия».

«Кар-кар!» — в траве при дороге, припадая на одно крыло, прыгал иссиня-черный грачонок, беспомощно тыкаясь в землю клювом. Евгений поднял грачонка. «Кар!» — цапнул грачонок за палец.

— Эх ты, Карл! — сказал Евгений, глядя глянцевито-черненькую головку птенца.

Грачонок притих. Евгений сунул его за пазуху, принес домой, накормил.

Карл остался жить в доме. Когда Евгений Николаевич куда-нибудь шел, Карл, неуклюже взмахивая приболевшим крылом, впопыхах его догонял, садился на плечо. И они отправлялись дальше вдвоем. А если все-таки иной раз приходилось Евгению одному отлучиться из дому, возвращаясь, он входил на крыльцо с зовом:

— Карл!

И Карл срывался откуда-то из укромного уголка и летел, торопился, припадал на плечо, распушив больное крыло.

— Нельзя тебе от природы уходить, — сказал отец, понаблюдав за сыном. Плечистым, большим, добрым.

...Вот к нему я и направлялась теперь в «Кваркенский» совхоз, где Евгений Николаевич Гузаревич директор. Совхоз дальний, в углу области, на границе с Целинным краем, сам наполовину целинный, с половиной непахотных земель. Оттого, что земля камениста, не годна под распахку, а хороша под ковыльные пастбища, и оттого, что бежит по совхозной земле речушка Каменка и более солидно течет река Суундук, образуя водопой для скота, в «Кваркенском» совхозе разводят овец. Знаменитых тонкорунных овец, из руна которых выделяется шерсть самого высокого, превосходного качества! Только у нас в Советском Союзе выделяют такую тонкую, легкую, теплую шерсть. Для этого надо разводить, кормить и выхаживать тысячи и тысячи овец. С весны овечьи гурты угоняются в степи, там их пасут до самого снега, за все лето один раз возвращая на две недели по домам, в отделения совхоза. Это когда придет пора стрижки. Приходит пора всегда в одно время, всегда в начале июня.

С блеянием, топоча копытцами, толкаясь друг о дружку боками, льются из степи потоки овец в тяжелых серовато-белых шубах. Они рады избавиться от своих шуб, свисающих до зем-

ли,— шерстяное руно созрело. Его снимают электромеханической стрижкой. Потом овцы купаются, моются под душем, их опрыскивают специальным дезинфекционным раствором, потом, повеселевшие, облегченные, вымытые, стуча копытцами, топают на ковыльные пастбища. Гуляют, пасутся там до зимы, пока холода не загонят на зимовье, в кошары.

...Напрасно я пыталась разговорить Евгения Гузаревича. Не знаю, как на отвлеченные темы, а о себе, о своей работе и жизни, о своих достижениях он плохой рассказчик! Рослый, крупный, в высоких сапогах и ватнике, с красным от ветра и весеннего солнца лицом, Евгений Николаевич Гузаревич решительно не похож на отца! И удивительно похож на отца неумением и неохотой показывать себя с выгодной стороны. Скромностью похож на отца!

«Что такое скромность? — думаю я.— Хорошее это или бесполезное качество? Не тот ли скромен, кому нечего показать, кому нечем погордиться?» Опыт и наблюдения говорят мне другое. Я чаще видела, что нескромны и чванливы мелкие люди. Те, кому надо доказывать, что вот, мол, и они стоят чего-то. Те, кому надо пускать пыль в глаза. Смотришь, человек сделал совсем незначительное, а шуму вокруг! Хвалятся, хвастают, кричат о победах те, у кого часто и побед особенных нет.

Талантливый и сильный человек скромен и некриклив потому, что чувствует себя способным сделать больше, чем сделал. Ему кажется, главное еще впереди. Он уверен в своих силах, умении, таланте, он жаждет сделать больше и больше, лучше и лучше, он никогда не доволен собой, потому что мечтает о совершенстве, о прекрасном, несбыточном.

Из мечты о прекрасном вырастает хорошее. Я не знаю ни одного истинно большого человека ни сегодня, ни в прошлом, кто был бы хвастлив и нескромнен.

Должно быть, у директора «Кваркенского» совхоза Евгений Николаевич Гузаревича все еще впереди — он скромнен. Он ни чего не рассказал о себе. Зато он сказал: «Люди у нас интересные есть!»

И в первый же день тонконогий, долгогривый жеребец коричневой масти мчал нас в легких саночках на одно из овечьих зимовий.

Комья снега летели из-под копыт, обрызгивая снежной пылью лицо; резал щеки весенний ветер. Евгений Николаевич правил играючи, еле пошевеливая вожжами. Мы прикатили на овечье зимовье. Посреди поля стоят дом чабанов и похожие на сараи кошары — жилье для овец. Возле кошар что-то столпилось, вроде больших юрт, плотно укутанных соломой, это катоны — там живет молодняк. Мы входим в кошары. Овцы жмутся друг к дружке, при приближении нашем боязливо шарахаясь в стороны; белокурые, на слабеньких ножках ягнята блеют детскими голосками, когда мы, пригибаясь под низкими потолками из толстых настилов соломы, пробираемся вдоль темноватого теплого катона, припахивающего кислотой силоса и парным молочком. Показывает нам овечьи отары Кулейхан Рахметова (по-русски Рахметова Клавдия). Она старший чабан, хотя совсем молода. Она казашка; у нее смуглое лицо с темным румянцем, узкие коричневые глаза. Она ведаёт отарами из многих сотен овец, под ее управлением младшие чабаны и сакманщицы, то есть работницы, которые во время зимовья ходят за овцами, кормят и поят, выпускают на воздух, чистят кошары и катоны, меняют подстилки. Весной старший чабан Рахметова Кулейхан с помощниками угоняет отары на пастбища. Днем и ночью, в зной и ветер, под дождями и грозами, Кулейхан не расстается со своими стадами. Всюду по пятам за ней следует ее первый помощник. Он и сейчас сопровождает ее. Нет, он важно шествует впереди. Когда Кулейхан отзывают ненадолго за советом сакманщицы, ее помощник ведет нас по катону, раздвигая тесно сбившихся тонконогих беспомощных кудрявых ягнят, объясняет нам, что такое таврение.

Наверное, вы не знаете, что такое таврение. А Юрка, первый помощник Кулейхан Рахметовой, знает. Юрке шесть лет, он сын Кулейхан. У него смуглое, как у матери, от несходящего загара лицо, узенькие щелки коричневых глаз. Он смотрит своими

щелками любопытно и остро на мир. И рассказывает нам, что значит таврить.

Когда у матки родится ягненок, некоторое время они живут вместе в отдельном хлевочке, будто в маленькой комнатке, мать ласкает, кормит ягненка. Потом их соединяют с другими в общее стадо. Тогда ягнят надо метить, то есть ставить специальной краской номер на ухо. Тот же номерок, что и у матки. Теперь чабан не перепутает, кто чей ягненок, кто чья matka. Длинная это история — таврить ягнят. Ведь их не два, не три, не десяток. Их многие сотни! Каждого надо подержать на руках, пока старший чабан поставит метку на ухо. Успокоить надо.

— Не бойся, я тут,— успокаивает Юрка.

И верно, он всегда тут. Он знает повадки овец, умеет задать овцам корм, он любит пушистое пугливое стадо, степные ковыльные пастбища, сухой зной лета, ветер и волю любит Юрка! Когда вырастет, он станет чабанить, как все у них в роду. Отец Юрки лишь недавно ушел на курсы механизации, а раньше был чабаном. Мать Юрки чабан. Дед Юркин чабан, только младший.

— Чего нынче, дочка, делать велишь? — спросит дед.

Она велит деду делать то, в чем нынче нужда.

После они вернутся из овечьих кошар и катанов домой, дед сядет в своей половине на нарах, на шерстяной кошме, вышитой розами и крупными зелеными листьями. Закурит трубку. А Кулейхан бегом побежит ставить самовар для Юркиного деда и с поклоном подаст ему в пиале черный, горький от крепости чай. На доньшке несколько глотков горячего, как огонь, чая. Огромный желтый самовар шипит, плюется кипятком, на желтом огромном подносе. Дед курит, и думает, и пьет чай. Целый час пьет. Кулейхан наливает в пиалу чаю на доньшко и подносит деду. И говорит Юрке про деда: аксакал. Что значит — почтенный старик, уважаемый.

А после чаепития снова:

— Что велишь делать, дочка?

Впрочем, это форма. Аксакал сам знает дело.

— Такие у нас люди, такие работники,— говорит Евгений

Николаевич, когда, напившись в компании деда из пиал огненно горячего чая, мы собрались уезжать.

Евгений Николаевич нашел для Юрки в кармане конфету. Видели бы вы, с каким достоинством взял Юрка конфету! Как независимо вышел он с матерью проводить нас до саней! Им с матерью надо в кошары: пора задавать вечерний корм овцам.

— Такие работники! — повторил Евгений Гузаревич, когда жеребец легко взял санки с места и вынес нас в чистое поле.

— Чему самому важному вы научились у отца? — спросила я.

Согласитесь, вопрос неожиданный и без видимой связи с тем, что мы сейчас смотрели, о чем говорили. Впрочем, внутренняя связь, конечно, была. Он понял. И не удивился вопросу.

— Самое важное, что я хочу перенять у отца, — это ценить людей, ладить с людьми.

Почти теми же словами на тот же вопрос ответил младший сын Гузаревич Георгий.

Совхоз «Магнитострой», где Гузаревич Георгий в мой приезд работал директором, назван так оттого, что в тридцатые годы, когда он создавался, приехали помогать ему строиться рабочие-строители из зачинавшегося тогда города-металлурга Магнитогорска, Челябинской области. Приехали, помогли и остались. И имя свое дали оренбургскому совхозу челябинцы: «Магнитострой». А теперь уже дети и внуки их пахут землю и убирают зерно в оренбургском совхозе.

Ехать туда из Оренбурга по большаку вдоль реки Урал, который сначала пересечешь, попадая таким образом в Азию, а затем снова пересечешь и вернешься обратно в Европу. Совхоз «Магнитострой» со своими полями, лугами, лесами, угодьями — весь европейский, однако Азия от него, выражаясь фигурально, в двух шагах, а точнее — в нескольких десятках километров. На стыке двух частей света расположен этот молодой и задорный, я сказала бы, озорной и веселый совхоз!

— Ладить с людьми хочу у отца научиться, — сказал и Гузаревич Георгий.

Пожалуй, это-то и труднее всего. Был такой случай. Самый разгар весенней страды. Пашня, сев, огороды. Все рабочие заняты, а тут еще подвернулось непредвиденное срочное дело. Некуда оказалось выгонять на водопой телят: там капустники, там помидоры — не подгонишь к реке молодой. Река течет под горой, по которой разбежались зеленые улочки центральной усадьбы. Молодой Гузаревич пришел к реке, пошагал по берегу, хмурия брови. Надумал. Решил поклониться старикам пенсионерам. Собрались старики у правления. Сидят на бревнах, крутят самокрутки, набивают самосадом. И ждут. Директор новый, еще неиспытанный. Поглядим. Ни один школьный и институтский экзамен не стоил Гузаревичу стольких волнений, как этот экзамен жизни.

— Товарищи! Вы уж простите, что к вам обратился. На отдыхе вы, а я беспокою. А с кем же и посоветоваться мне, как не с вами. Дома спросил бы отца, здесь вас спрашиваю...

Так начал он, уважительно, дипломатично. Старики задымили самосадом. Ждут дальше.

— Как вы, товарищи, смотрите?..

Он изложил им мысль: отрезать на том берегу речки кусок луга, отгородить плетнем для телячьего выпаса. Невелика работа. Если б не страда, дал бы рабочим на три дня наряд, и весь разговор. Старики понимают, что работа невелика, но им приятно, что директор к ним обратился, советуется, что директор не суетлив, неспесив, с ними, стариками, почтителен. Старики слушают, дымят самосадом.

Когда-то, в старые времена, был хороший обычай в деревне. Идут вечером с поля крестьяне. Рожь сжата, связана в снопы, поставлена в бабки. Только одинокая женщина гнется на недожатой полоске. Вечер глядит в глаза. Неужели на ночь женщину оставить одну в поле? Нет, никто не пройдет мимо, не сжав в помощь двух-трех снопов. Глядишь — убрана полоса.

— Поможем. Своему-то совхозу отчего не помочь? Чай, мы не инвалиды, на трудовой, заслуженной пенсии, — так ответили старики директору.

И уже на следующий день собрались пенсионеры — нарезали ивняка, поставили плетень. А о директоре пошел слух: «С народом уважительный».

Ему едва исполнилось двадцать пять лет. Наверное, он был самым молодым директором в области. Наверное, самым неопытным. Упорным, решительным.

Вот, например, с основания совхоза воду для скота и людей возили на машинах из-под горы. Что за жизнь в деревне, когда вода меряная, каждое ведро рассчитано! Без водопровода не жизнь. Сколько ни бурили скважины, ища подземные воды, все без толку.

— Отступитесь, не пробуйте, напрасный риск,— уговаривали молодого директора осторожные люди.

— Не пробовать? Не рисковать? Отступиться?

Ну уж нет, не такой человек молодой Гузаревич! Десять, двадцать раз будет пробовать, рисковать, бурить новые и новые скважины, пока не найдет подземные воды. И что бы вы думали? Нашел! В совхозе «Магнитострой» провели водопровод.

«Головастый, настойчивый!» — заговорили о молодом Гузаревиче.

Рослый, как все Гузаревичи, с высоко поставленной головой, с прямым, чуть усмешливым взглядом, он по жизни идет «гузаревической», прямой, широкой походкой. Рядом гибкая, легкая, тоненькая, как пруттик, жена, школьная подруга Рая. Дружили все школьные годы. А институты кончали разные: Георгий поступил в Оренбурге, Рая попала в Ташкент. Жизнь развела на долгих пять лет. Более, чем на пять. Раю направили работать в Херсон. «Может быть, ты меня уже позабыл», — грустно писала из Херсона Рая.

Он приехал в Херсон.

— Я тебя не забыл. Я тебя люблю. Я за тобой приехал, Рая.

— Останемся в Херсоне, Георгий. Красивый город Херсон, заводы, верфи, юг, близко море...

— Что ты, что ты! Не могу я жить в городе, я поле люблю, Оренбургские волнистые степи, совхозную жизнь я люблю и

людей наших, пахать землю мне нравится и собирать урожай. Не могу я без этого!

— А я, Георгий, без тебя не могу.

Он увез жену из Херсона.

Теперь она давно и думать забыла о городе. Иная молодежь рвется в город оттого, что в деревне ей кажется монотонно и скучно.

Дорогой мой читатель, соберись в оренбургский совхоз «Магнитострой», обыкновенный, не выдающийся ничем особым совхоз, неближний совхоз—от районного центра сорок километров, от станции Ново-Сергеевка семьдесят, от города Оренбурга сто семьдесят. Соберись или пошли письмо магнитостроевским школьникам, пусть они напишут тебе, скучная ли у них жизнь в совхозе. Мне кажется, нет! Мне кажется, жизнь ключом бьет в совхозе «Магнитострой»!

Людные улицы. Тракторный парк с сотней тракторов и более полсотни комбайнов. Ремонтно-механические мастерские, где отделения, цеха, недавно пристроен цех сборки моторов и обкатки двигателей—целый завод. Везде молодежь! Трактористы молодые, инженеры в мастерских молодые, в больнице главный врач молодой, учителя в школе-десятилетке почти все молодые.

Мы идем в клуб. В клубе оборудованный просторный зрительный зал на триста мест. На сцене еще не убраны декорации после вчерашнего спектакля. Спектакль играл драмкружок. С успехом, поднимающимся чуть не десяток раз занавесом, аплодисментами, вызовами и счастьем актеров! Актеры—учителя, врачи, инженеры, рабочие. В клубе бильярд, библиотека, читальня, гимнастический, хоровой, музыкальный кружки.

...Мы идем в рабочую столовую, построенную недавно, идем в магазин, полный товаров. Мы видим ярко раскрашенную автолавку, готовую с наступлением весны выйти в поле продавать рабочим товары. Мы видим афишу, объявляющую на сегодняшний вечер кино. Мы видим людей, деятельных, работающих активно, с охотой. Мы видим жизнь, исполненную энергии молодости!

Директор ведет меня по поселку и ферме, ревниво следя: понимаю ли я, как велико хозяйство совхоза, как сложно им управлять. То и веселит, что велико, то и задорит, что сложно!

Я узнаю отцовское выражение небудничности в лице младшего сына, упрямого, смелого! А теперь и нельзя быть несмелым. Раньше в сельском хозяйстве почиталось ценнее всего послушание: слушай, что из района скомандуют, когда сеять, что сеять, что в хозяйстве планировать, как. Теперь надо думать самим. А людям и хочется думать, хочется инициативы.

Хочется изобретать, создавать, строить, соображать, что в первую очередь полезно именно нашему совхозу делать для государства, для народа, для того чтобы наша Советская страна была бы все сильнее, все богаче.

— Эх, рано вы приехали — снег на полях! — досадует Георгий Николаевич. — Приезжали бы в сев. Ведь мы, как в бой, выходим в поля, с полной стратегией. Авангарды, фланги, прикрытия... Нет уж, кто смолodu полюбил работать на земле, не уйдет от земли.

...До революции в старой деревне крестьяне тоже любили землю. Я помню, какой иногда бывала эта любовь! В детские годы мне случалось жить вёснами и лётами в деревне. Во все синее небо звенят-заливаются жаворонки. Ярко зеленеют озимые ржи, разлинованные межами на полосы. Невдалеке, на пологом холме, мужики пахут землю под пар. Чтобы земля на отдыхе парилась. А мы, несколько маленьких девчонок, сидим близко от пашни, на бережку у речки. Заросший незабудками, бережок голубой. Речка неширокая, на дне бьют ключи, а у берегов, под корягами, говорят, лежат жирные сазаны, по аршину в длину, и шевелят плавниками.

Мы плетем венки из незабудок. Говорят, сазан иногда поднимается кверху поглядеть своим рыбьим глазом на небо. Надо только не спугнуть, тогда он поднимется. Мы тихо спускаем по одной незабудке в речку. Речка быстро уносит наши цветы.

Вдруг дикий крик несется с холма, где мужики пахут пар. Мы замираем от страха. Мы видим, там бросили пашню и один

мужик, в солдатской фуражке козырьком назад, схватил под уздцы соседскую лошадь и не дает соседу пахать. Сосед навалился на плуг.

— Пусти, дай дорогу, моя полоса, миром выделена.

— Врешь, от моей на два плуга отрезал! — кричит мужик в солдатской фуражке и все ударяет с размаху лошадь кулаком по губам. — На тебе, на тебе! Вороти с моей полосы!

— Пусти кобылу, не троны!

— Вор!

— Я те дам вора...

И мы видим, мужик, кинув плуг, шагнул к тому, в солдатской фуражке, толкнул на землю и пинает ногами в живот, в лицо, куда попало, долго, пока тот не затих. Потом, будто сделав обычное дело, возвращается к борозде и, взявшись за плуг, пашет. Мы видим его согнутую спину. Мы молчим. Мы не плетем больше венки из незабудок. Нам страшно, что он пашет, не оглядываясь на того, кто лежит. Мы знаем того, кто лежит, он дядя Матвей. У него пятеро ребят, у дяди Матвея, и все мальчишки. А пашет Степан. Мы знаем, Степанова жена недавно родила двойню...

Но тут мы видим, дядя Матвей медленно садится и, как слепой, шарит вокруг себя по земле, ищет фуражку. Нашел, надел. Степан идет с плугом мимо.

— Мою полосу пашешь, — слышим мы дядю Матвея.

— Когда она твоей-то была?

Мы видим, он поднялся с земли и, шатаясь, идет. Не к своей кляче — его тощая кляча дремлет понурясь, — он идет вдоль межи. Зачем у него там оказался топор? Он берет топор, лезвие остро блеснуло на солнце.

Дядя Матвей, в солдатской фуражке, идет с топором. Степан, услышав, оглянулся.

— Зарублю, — сипло говорит дядя Матвей.

Секунду они молчат.

— Мою полосу пашешь, вор! Зарублю!

Он заносит топор. Степан дико вскрикнул и побежал, не раз-

бирая дороги, попереж полосы, к речке. Мы слышали, как хрипело у него в груди, когда он пробегал мимо нас голубым лужком. Мы видели его серое лицо и белые от страха глаза. Потом мы услышали другое дыхание и увидали другие глаза. И лезвие топора слепа блеснуло на солнце.

Это случилось в яркий весенний день, когда небо звенело, цвели цветы, а мы сидели на берегу и ждали — вот поднимется из-под коряги сазан и поглядит на нас рыбьим взглядом.

Вот какой, губящей душу, бывала любовь к земле в дореволюционной России. Своей земле. Своей полосе. Своему посеву.

...Я возвращалась в Оренбург большаком вдоль левобережья Урала. Было тихое утро. За ночь пал иней, и молоденький лесок, сопровождавший сбоку шоссе, стоял без звука, рисуя в прозрачном воздухе белое кружево веток. Взошло солнце. В низинках разлился лиловатый туман. Черные тучи грачей поднимались, вспугнутые нашей машинной, и, пролетев с десятков метров, снова опускались в снег, и чувствовалось по всему — весна.

В прозрачном воздухе временами был отчетливо виден правый высокий, обрывистый берег Урала. Тем берегом Пушкин ехал из Оренбурга к яицким казакам по следам Пугачевского восстания.

Если бы мог Пушкин увидеть нынешние земли, где двести лет назад бушевал народный мятеж против помещиков за волю и хлеб! Все ново и прочно на этих землях.

Идет большая народная жизнь.





ятатель! Теперь, когда ты дочитал эту книгу до последней страницы, вот что я хочу сказать в заключение. Две матери и один отец — основные действующие лица не придуманных мною историй. Сначала я собиралась рассказать только о том, как матери и отцы растят и воспитывают детей и как из детей получаются настоящие люди.

Но в нашем советском обществе отец не может быть только отцом, а мать только матерью. Я рассказала вам о Зариат Акавовне Шихмурзаевой, матери известной скрипачки. О том, как она вложила в воспитание дочери свою мечту о прекрасном. Воспитала в дочери волю, помогла стать скрипачкой. Но не только это сделано матерью. А ее работа учительницы! Много выученных и воспитанных Зариат Акавовной девушек и юношей водят сейчас в морях корабли, чертят на ватмане проекты еще не осуществленных машин, лечат людей, строят дома.

Другая мать, героически воспитавшая дочь-героиню, чье имя — Валентина Терешкова — навечно вписано золотыми буквами в историю человечества, была текстильщицей, дочерью славного и великого русского рабочего класса!

А отец Николай Иванович Гузаревич? Он передал сыновьям любовь к земле, плодородной и щедрой, когда за ней ходят заботливые и умелые руки.

Такие отцы и такие матери защитили нашу Родину и весь мир от фашизма. Восстановили разрушенные гитлеровцами города и деревни. Построили тысячи замечательных заводов. Изобрели ракеты и спутники. Распахали поля. Насаждали сады. И вам, дети, передают в наследство мечту о жизни интересной, умной и вольной.

Не растрачивайте ее, эту жизнь, по-пустому. Она довольно быстро летит. Пусть каждый ваш день будет полон смысла и важного дела.

Тогда будет и радость. Тогда будет и счастье.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗВЕЗДОЧКА МОЯ	7
И СКАЗКА И БЫЛЬ	33
ИДУТ КОРАБЛИ...	73

Для старшего возраста

Прилежаева Мария Павловна

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

Ответственный редактор М. В. Раданшевская.
Художественный редактор Н. Г. Холодовская.
Технический редактор Г. В. Козлова.
Корректоры Т. П. Лейзерович и Э. Н. Сизова.
Сдано в набор 8-I 1969 г. Подписано к печати 14-III 1969 г.
Формат 60×84¹/₁₆. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 6,53. (Уч.-изд.
л. 5,64). Тираж 100 000 экз. ТП 1969 № 370. Цена 29
коп. на бум. № 1. Издательство „Детская литература“.
Москва, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного
Знамени фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавополиграф-
прома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР.
Москва, Сушевский вал, 49. Заказ № 3639.

